

ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕВОДЫ
ИСТОЧНИКОВ

ПРОФ. К. Н. УСПЕНСКИЙ. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
ИКОНОБОРЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В VIII—IX вв. ФЕОФАН И ЕГО ХРОНОГРАФИЯ

(Продолжение)¹

Сам собой сейчас же выдвигается любопытный вопрос: если Феофан в повествовании о первых иконоборческих царствованиях исходил, хотя бы и сокрушая все на своем пути, из завещанных враждебной стороной изображений, которые до известной поры, до усиления реакции в 80-х годах VIII в., можно считать господствовавшими и общепринятыми, то все ли он без остатка отверг из этого материала, все ли заменил своей правдой? Если от изложения „иконоборческих“ выступлений императоров Льва III и Константина V, с которым враждебно столкнулся Феофан в своем источнике — „иконоборческой хронике“, уцелело, пусть в переработанном и переименованном виде, даже одно, два, три сообщения, то все-таки этим самым устанавливался бы хотя минимальный фонд фактичности его хронографии. Единственным и то очень приблизительным способом решения такой задачи является опять сопоставление состава повествования Феофана с таковым же патр. Никифора (в *Ἱστορία σύντομος*). Та или иная степень близости по содержанию и по форме отдельных пассажей должна засвидетельствовать заимствование их из общего источника. Таких совпадений в изложении внутренней, теснее — иконоборческой деятельности императоров у них значительно меньше, чем в истории внешней политики и стихийных событий. В пределах царствования Льва III их можно указать всего два. Первое из них, однако, таково, что не внушает никаких сомнений в пользовании здесь со стороны обоих историков одной хроникой враждебного направления, поскольку оба вступают с ее рассказом в полемику, причем Никифор даже иронически цитирует источник.

Theoph. 404,₁₈ ἐν αὐτῷ δὲ τῷ ἔτει..... ἀτμίς ὡς ἐκ Καμίνου πυρός ἀνέβρασεν ἀναμέσον Θήρας καὶ Θηρασίας τῶν νήσων ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς θαλάσσης ἐπὶ ἡμέρας τινάς, καὶ κατὰ βραχὺ παχυνομένη καὶ ἀπολιθούμενη τῇ ἐξάψει τῆς πυρώδους ἐκκαύσεως, ὅλος ὁ καπνὸς πυροφανῆς ἐδείκνυτο. τῇ δὲ παχύνητι τῆς γεώ-

Nicéph. 57,₅ Οἷον δὲ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους περὶ τὰς νήσους τῆς τε Θήρας καὶ Θηρασίας... συμβέβηκεν... παραδραμεῖν οὐκ ἄξιον. θέρους ὥρας ἐνεσθηκαίας συνηχῆθη τὸν θαλάττιον βυθὸν πλείστον ὅτι καπνώδη ἀτμὸν ἐξερέυσσθαι, ἐξ οὗ ἐπὶ πολὺ πικνουμένου τοῦ ἀέρος πῦρ ἐξάφθῆναι καὶ μετὰ τὸ πῦρ λίδους Κισσιρώδεις

¹ См. „Византийский Временник“, т. III, стр. 393—438.

δους οὐσίας πετροκισήρους
 μεγάλους ὡς λόφους τινὰς ἀνέ-
 πεμψε καθ' ὅλης τῆς Μικρᾶς
 Ἀσίας καὶ Λέσβου καὶ Ἀβύδου καὶ
 τῆς πρὸς Θάλασσαν Μακεδο-
 νίας ὡς ἅπαν τὸ πρόσωπον τῆς
 θαλάσσης ταύτης Κισσῶν ἐπιπο-
 λαζόντων γέμειν μέσον δὲ τηλικούτου
 πυρὸς νῆσος ἀπογεωθεῖσα τῇ
 λεγομένῃ Ἰερᾷ νήσῳ συνήφθη,
 μήπω τὸ πρὶν οὐσα, ἄλλ' ὡς αἰ
 προῤῥηθεῖσα νῆσοι, Ἰθῆρα τε
 καὶ Θηρασία ποτὲ ἐξεβράσθη-
 σαν, οὕτω καὶ αὕτη νῦν ἐπι τῶν
 χρόνων τοῦ... Λέοντος

διεκβρασθῆναι εἰς πλῆθος μέγι-
 στον, ὥστε εἰς εἶδος νήσου τοὺς
 λίθους συστῆναι, ἐνωθῆναι τε
 τὴν γῆν τῇ Ἰερᾷ καλουμένῃ
 νήσῳ, ἣν δὴ καὶ αὐτὴν φασὶ τῷ
 ὁμοίῳ τρόπῳ τοῦ βυθίου ἀνα-
 δοθῆναι χώρου, καθάπερ καὶ
 τὰς ῥηθείσας λόγος Θῆραν καὶ
 Θηρασίαν νήσους. Τῷ ἀπεῖρω δὲ
 πλήθει τῶν ἀναδομένων λίθων ἀνά
 πᾶσαν κατεστωρῆσθαι τὴν
 ἐκείνην θάλασσαν ἐνθένδε τε
 ἀφικέσθαι ἄχρις Ἀβύδου καὶ
 τῆς Ἀσιάτιδος παραθαλασ-
 σίου.

И самая передача сущности катастрофы, и сходство выражений, и, наконец, характерное тождество упоминания о Святом Острове (Ἰερὰ νῆσος) не оставляют ни малейшего сомнения в выписывании обоими историками одного определенного источника, след которого у патр. Никифора остался в допущенном им обороте с φασί. Ввиду этого и дальнейшее совпадение Феофана и Никифора в сообщениях о связи катастрофы с началом иконоборчества Льва III необходимо сводить на тот же общий источник, который, надо сознаться, у Никифора прощупывается явственнее, чем у Феофана.

Theoph. 405,¹ Ὅς τὴν κατ' αὐτοῦ
 θεῖαν ὄργην ὑπὲρ ἑαυτοῦ λογισάμενος
 ἀναιδέστερον κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπ-
 τῶν εἰκόνων ἤγειρε πόλεμον, σύμμαχον
 ἔχων Βησῆρ τὸν ἀρνησίθεον καὶ τῆς
 ἴσης ἀλογίας ἐφάμιλλον...

Nicserph. 57,²¹ Ταῦτά φασιν
 ἀκούσαντα τὸν βασιλέα ὑπολαμβά-
 νειν θείας ὀργῆς εἶναι μηνύματα,
 καὶ ἦτις αἰτία ταῦτα κελίγηκε
 διασκέπτεσθαι. Ἐντεῦθεν λοιπὸν
 κατὰ τῆς εὐσεβείας ἵσταται καὶ τῶν
 ἱερῶν εἰκονισμάτων μελετᾶ τὴν καθάι-
 ρεσιν ὡς ἐκ τῆς τούτων ἰδρύσεώς
 τε καὶ προσκυνήσεως γεγονέναι
 οἰόμενος τὸ τεράστιον, κακῶς
 εἰδῶς. ἐκδιδάσκειν δὲ τὸν λαὸν τὸ
 οἰκεῖον ἐπεχείρει δόγμα.

Ясно, что оба историка переделывали здесь одно и то же место общего источника, в котором стояло что-нибудь близкое к следующему: „Таῦτα δ' ἀκούσας, ὁ εὐσεβῆς βασιλεὺς ὑπελάμβανε θείας ὀργῆς εἶναι μηνύματα, καὶ ἦτις... διεσκέπτετο. Καὶ οἰόμενος (λογισάμενος), ὡς ἐκ τῆς... γέγονε τὸ τεράστιον, τῶν εἰκονισμ., τὴν καθ. μελετᾶ, καλῶς εἰδῶς, κλι...“ Но Феофану пришлось не только опровергнуть, как это добросовестно делает Никифор, это объяснение начала реформации Льва III, которое и стояло в источнике, но и исказить самый факт. Так как он уже под а. н. 6215 и 6217¹ приписал Льву III первые приступы к иконоборчеству, то здесь он должен был говорить не о первом „нечестивом“ выступлении императора, а о „более бесстыдном возбуждении войны против икон“, которое он сейчас же и разъясняет как попытки уничтожения икон (приводится халкопильское столкновение). Между тем у патр. Никифора, а судя по нему, и в источнике речь шла только о подготовке (μελετᾶ) уничтожения икон — в границах пропаганды

¹ Theoph. 402,8 ff и 404, 3-9.

в народе собственного учения (ἐκδιδάσκειν δὲ τὸν Λ. τὸ οἰκτεῖον ἐπεχείρει δόγμα). Что и Феофан читал в источнике только о подготовке и распространении новых взглядов императора, свидетельствует его начальная фраза дальнейшей очерка: „οἱ δὲ κατὰ τ. βασι. π. ὄχλοι... λυπούμενοι ἐπὶ ταῖς καιναῖς διδασκαλίαις...“ Но я решаюсь отметить и еще одно характерное искажение, допущенное в данном сообщении Феофаном: ведь Никифор указывает два шага или две меры, принятые Львом III после истолкования значения катастрофы: вторая — это подготовка ниспровержения икон, но первая — это „κατὰ τῆς εὐσεβείας ἵσταται“. Едва ли можно считать последнее за общее обозначение, а первое за частичное; ведь под εὐσέβεια в VIII—IX вв. подразумевали нечто весьма определенное, а не вообще благочестие,¹ и εὐσεβῆς βίος было почти однозначуще с μονήρης βίος. Что стояло в источнике на месте этого εὐσέβεια, мы не знаем, но Феофан почему-то оторвал это гонение на благочестие и перенес его непонятным образом в окончание рассказа о восстании Космы и Агаллиана.²

Второе совпадение Феофана и Никифора касается конца драмы патр. Германа, каковой опять-таки вполне допустим и в иконоборческом источнике, только, конечно, в соответствующем освещении.

Theoph. 408,³¹. τῇ δὲ Ζ' τοῦ Ἰανν..... Λέων ὁ δυσσεβῆς σέλεντων κατὰ τῶν ἁγίων.... εἰκόνων ἐκρότησεν ἐν τῷ τριβουναλίῳ τῶν Ἰ' ἀκουβίτων, προσκαλεσάμενος καὶ τὸν ἁγ. πατρ. Γερμανόν, οἰόμενος πείθειν αὐτὸν ὑπογράψαι κατὰ τῶν ἁγ. εἰκ. Ὁ δὲ γενναῖος τοῦ χρ. δ. μηδ' ἄλλως πεισθεὶς τῇ μυσαρῶ κακοδοξίᾳ αὐτοῦ, τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομήσας ἀπετάξατο τὴν ἀρχιερωσύνην ἐπίδοῦς τὸ ὠμοφόριον καὶ εἰπὼν μετὰ πολλοὺς διδασκ. λόγους „εἰάν ἐγὼ εἶμι Ἰωνᾶς, βάλετε με εἰς τ. θ. χωρὶς γὰρ οἰκουμενικῆς συνόδου καινοτομήσαι πίστιν ἀδύνατον μοι, ᾧ β.

Καὶ ἀπελθὼν ἐν τῷ λεγ. Πλατανίῳ εἰς τὸν γονικὸν αὐτοῦ οἶκον ἠσύχασεν, ἀρχιερατεύσας ἔτη...

τῇ δὲ κβ'... χειροτονουσὶν Ἀναστάσιον τὸν ψευδ. μαθητὴν καὶ Σύγκελλον τοῦ αὐτοῦ μ. Γερμανοῦ συνθῆμενον τῇ Δ. δυσσεβεῖα... Γρηγόριος δὲ... καθὼς καὶ προέφη, Ἀναστάσιον ἅμα τοῖς λιβέλλοις ἀπεκλήρυσεν ἐλέγχσας τὸν Λέοντα δι' ἐπιστολῶν ὡς ἀσεβοῦντα καί... ἀπέστησεν. Ἐκμανεὶς οὖν ὁ τύραννος ἐπέτεινε τὸν κατὰ τῶν... εἰκόνων διωγμὸν, πολλοὶ τε κληρικοὶ καὶ μονασταὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοὶ ὑπερκεκινδύνευσαν τοῦ ὀρθοῦ λόγου

Niceph. 58,¹⁷. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἀθροίζει πλείστον λαὸν τῆς πόλεως περὶ τὰ βασίλεια, καὶ συγκαλεῖ τὸν τότε τῆς πόλεως ἀρχιερέα Γερμανόν, καὶ συγγράφειν κατὰ τῆς καθαιρέσεως τῶν εἰκόνων... ἠνάγκαζεν. Ὁ δὲ παρητήριτο καὶ τὴν ἱερωσύνην ἀπέβαλεν, λέγων ὡς, „ἀνευ οἰκουμενικῆς συνόδου ἐγγραφὸν πίστιν οὐκ ἐκτίθειμαι.

Ἐκείθεν ἐπὶ τὸν πατρικὸν οἶκον γενόμενος αὐτοῦ τὸν τῆς Ζωῆς βιοτεύων διετέλεσε χρόνον.

Μετ' αὐτὸν δὲ προχειρίζονται ἀρχιερέα Ἀναστάσιον κληρικὸν τῆς μεγ. ἐκκλ. τυγχάνοντα.

Ἐξ ἐκείνου τοίνυν πολλοὶ τῶν εὐσεβούντων, ὅσοι τῷ βασιλείῳ οὐ συνετίθεντο δόγματι, τιμωρίας πλείστας καὶ αἰκισμοὺς ὑπέμενον.

¹ Theoph. I, 442,²⁴, а главное у самого Никифора: 71, 10, 22; 72, 14, а также в βίος Στεφάνου του Νέου.

² 405,²⁴ „αὐξεῖ δὲ τῇ κακίᾳ Λέων... καὶ οἱ τούτου σύμφρονες τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας διωγμὸν ἐπιτείνοντες“.

Этот случай является более замысловатым, чем первый. Одинаковое строение рассказа как будто подсказывает пользование и здесь со стороны обоих историков одним источником. Но само собой разумеется, что даже у более сухого и сдержанного Никифора этот эпизод должен был подвергнуться решительной переделке — в сторону сочувствия патр. Герману. Во всяком случае между сопоставляемыми авторами оказываются и значительные расхождения. Главное из них то, что у патр. Никифора, это первое и единственное столкновение между Львом III и Германом; у Феофана же — последнее из целого ряда их, приводящее к печальному исходу патриарха. В то же время патр. Никифор изображает дело так, что император только подготовляет иконоборческие мероприятия, но еще не дошел до их осуществления. По Феофану, истребление икон к данному моменту уже в полном разгаре. Отчего произошли такие явственные несогласия? Правда, Никифор весьма решительно сокращает и сжимает повествование — и, может быть, всю вереницу столкновений между патриархом и императором он стянул в один конечный инцидент. Против такого предположения говорит, однако, то обстоятельство, что, по Никифору, предшествующих столкновений между Львом и Германом и не могло быть, так как правительство еще не принимало решений против икон и только устроило большое собрание для выработки такового (συγγραφειν κατὰ...), пригласив на него как авторитетное лицо и патриарха. Судя по известному наименованию патр. Германа „двоядушным“ в определениях Собора 754 г., можно думать, что он до последней решительной минуты не высказывал своего мнения относительно замыслов императора. Трудно сказать, к какому времени относится его послание к еп. Константину Наколийскому, но там он по вопросу об отношении к иконам говорит в весьма уступчивом и миролюбивом тоне.¹ Таким образом, есть основание оказать большее доверие Никифору, чем Феофану, который предпоставил этому „исходу“ Германа несколько более ранних выступлений его в роли исповедника иконопочитания — с целью показать „правду“ о нем и опровергнуть иконоборческое представление о нем как о двоюдушном. Никифор более строго выписал из враждебного источника могшее там стоять сообщение о созыве большого собрания при дворце с предварительным silentием² в „трибунале девятнадцати акувитов“, на который был приглашен и патр. Герман, подававший повод к тому, чтобы ожидать от него присоединения к реформационной партии. На этом собрании поставлен был, вероятно, между другими и вопрос об уничтожении икон. Здесь же и произошел решительный разлад между императором и патриархом, отказывавшимся собственной властью, без вселенского собора, вводить какие-либо церковные реформы.

¹ См. у Migne. Patr. Gr. 98, 164. „... διαβεβαιουμένη μηδέν προς υβριν του Κυριου, η των αγιων αυτου, ενεχεν της τούτων εικόνας ειπειν η διατρέψασθαι, άλλ' η μόνον την Γραφικήν προτειναι διδασκαλίαν περι του μηδέν των εν χρισματι της θείας αξιου τιμης. “Нутна και ημεις εδιδάχθημεν ουτως εχειν, και βεβαιως χρητούμεν, και ομολογούμεν“.

² Вопрос о том, что представляли собой silentии в Византии в VIII в. не раз обсуждался в исследованиях. Принятое теперь мнение, что это народное собрание, в котором император обращается с речью к толпе, принадлежит В. Г. Васильевскому (ЖМНП, т. 191, стр. 286). Тот же ученый принимает перерождение silentия к X в. в совещание императора с сановниками — сенаторами. Несмотря на него я все-таки решаюсь в данном случае разделить народное собрание от silentия, собранного в Трибунале 19 акувитов, т. е. в помещении, едва ли рассчитанном на большое количество людей, на „толпу“.

Разлад повел к отказу престарелого Германа от патриаршества, замещению его клириком Великой Церкви, учеником и синкеллом Германа — Анастасием и преследованию лиц, заявлявших о несогласии с правительственными взглядами.

5

В пределах царствования Константина V таких переработанных выписок из враждебного источника у Феофана можно установить уже несколько больше. Самое начало этого ненавистного ему царствования, т. е. узурпационная попытка Артавазда и ее неудачный исход, в своих эпизодах и деталях изложенная очень близко к тому, что мы застаем (именно в частностях и номенклатуре) у патр. Никифора, могла быть заимствована только из предшествующей хроники, так как рассказана чрезвычайно точно и подробно (даже с излишними подробностями).¹ И снова приходится, отдавая и здесь преимущество более солидной работе патр. Никифора, выверять Феофана последним. Оказывается, что наименее пострадали в переделках Феофана самый ход и перипетии борьбы Константина с Артаваздом, которые эксцерпированы довольно одинаково обоими историками, но, конечно, симпатии их (особенно явственно у Феофана) перетянуты на сторону Артавазда, хотя он и выступал дерзким узурпатором против законного и уже назначенного наследника престола.² Происхождение же смуты, ее мотивы, отношение народа к тому и другому претенденту, несомненно, искажены в передаче Феофана, так как во 1) не поддерживаются патр. Никифором, а во 2) в повествовании получились крупные недоразумения и противоречия. Именно тенденциозно придуманное Феофаном объяснение самой попытки Артавазда, неуклюже вплетенной в иконоборческое движение, однако, он за все царствование Льва III фактов этого движения так и не сумел привести, и заставляет обратить внимание на весь этот эпизод. Феофан связывает его с общей характеристикой Константина (по поводу его воцарения). Уже эта характеристика, которая дается им, вероятнее всего, под впечатлением вычитанного во враждебном, иконоборческом источнике панегирика и в опровержение этой „лжи“, поражает и раздраженной гиперболичностью и явными несуразностями. Составлена она, очевидно, из противоположений иконоборческой „похвалы“, совершенно риторически, без всякой реальной, фактической опоры. Это и есть первый опыт обещанного здесь „выявления правды“ о Константине V на пользу всем заблуждающимся и в опровержение утвердившегося мнения о нем. „Этот всегубительный, лютейший зверь, тиранически и далеко не законно воспользовавшись верховной властью, прежде всего отступился от бога и спасителя нашего Иисуса Христа и пречистой его матери и от всех святых, заблуждаясь в волхвованиях, непотребствах и кровавых жертвах, в лошадином кале и моче, восхищаясь развратом и

¹ Theoph. 413,29—414,2 = Niceph. 59,17—20;
414,18—415,22 = „ 59,25—60,28;
417,23—418,11 = „ 60,28—61,20;
419,7—421,6 = „ 61,20—62,20.

² Между прочим в своем прикрасении Феофан позволяет себе говорить это о Константине: „αὐτὸς γὰρ ὁ πανώλης καὶ ἀγριώτατος ἤνθρωπος τυραννικῶς καὶ οὐκ ἐννόμως τῷ κράτει χρῆσάμενος“ (413,18—19), что характерно для его „правдолюбия“. Ничего подобного нет у Никифора.

общением с демонами, и просто с малых лет сжился со всеми растлевающими душу (упражнениями) делами¹.¹ Поскольку этим невероятным обвинением Константина V придан quasi-фактический характер и поскольку здесь уже намечаются основания для позднее утверждающихся в „православной“ среде прозвищ этого императора Κοτρώνυμος и Καβαλλῆνος (которых, правда, сам Феофан еще не употребляет), мы должны разобраться в приведенной выше характеристике, возникшей в ожесточенной полемике с иконоборческими прославлениями Константина как „пророка и победоносного героя“, как „христолюбца, жизнь которого есть жизнь благочестивого, благочестивейшего от рождения, как сокрушителя нечестия идолослужения“.² Здесь необходимо принять в соображение, для более справедливой оценки Феофана, что он не одинок в такой испепеляющей ненависти к Константину V: те же преступления, те же скверны, те же мерзостные пороки приписывают ему и все прочие „православные“ писатели с начала IX в. Не миновал их в своих богословских сочинениях и сдержанный в „Краткой истории“ патр. Никифор. С риторической яростью раскрашиваются они и в агиографии и в таинственной *Oratio contra Const. Caballinum*. Они не являются, следовательно, индивидуальным творчеством какого-либо одного автора — Феофана, или Никифора, или диакона Стефана. „Уничтожение“ Константина (поскольку мы можем судить по дошедшей до нас литературе) создавалось в безличной монастырской среде, несомненно, как отпор епископально-военному превознесению любимого императора. Православная легенда о Константине в своих главных чертах готова была уже к последнему десятилетию VIII в., и Феофан уже уверенно пользуется и максималистическими ее положениями и пущенными в ход полюбившимися анекдотами-пасквилями, начиная с знаменитого инцидента при крещении Константина V.

Этот „случай“, который обычно и считали поводом для прозвания Константина Κοτρώνυμος,³ приводится Феофаном несколько ранее⁴ со ссылкой на „очевидцев“, но рассказывается так, что соблазнительный термин κότρος как раз отсутствует; и связь Константина с κότρος устанавливается в другой области, в увлечении этого императора лошадьми и скачками, в котором, самом по себе, конечно, ничего предосудительного и достойного обвинения не было, даже если оно доходило и до таких высоких степеней, о каких свидетельствует Житие св. Стефана Нового.⁵ Уже автор последнего явно допускает некоторую карикатуру, но легко же себе представить, как невинное и притом характерное для восточного императора увлечение конским спортом могло быть и преувеличенно и извращенно перетолковано в мстительной монастырской среде. Кони — конюшни — навоз — вот

¹ Theoph. 413, 18—25.

² Провозглашение Собора 754 г. — в актах VII Вселенского Собора — Mansi XIII.

³ Впервые эта связь определенно зафиксирована, кажется, только Зонарой. См. Migne, Patr. Gr. 134, 1320 В. „ὅτε λέγεται κότρον αὐτὸν ἐκκρίναι τῇ θεῖᾳ κολυμβήδρα καταδύμενον, κἀντεῦθεν ἐπονομασθῆναι Κοτρώνυμον“.

⁴ Theoph. 400, 9—10. „ἀφοδεύσαντος αὐτοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ κολυμβήδρᾳ, ὡς φασιν οἱ ἀκριβῶς αὐτόπται γεγονότες“.

⁵ Migne. Patr. Gr. 100, 1113. „Καὶ ὅπου μὲν ἦν Χριστοῦ, ἢ τῆς Θεοτόκου σ. εἰκόνες — ἢ . . . ἀνακρίσει παρέδιδοντο. Εἰ δὲ ἦν . . . μάλιστα δὲ τὰ Σατανικά ἱππολάσια, κυνηγία . . . καὶ ἱπποδρόμια . . . ταῦτα τιμητικῶς ἐναπομένειν. . .“ Ibid. 1172. — „ἀπερ ὁ νεὸς Βαβυλώνιος τυραννὸς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις καταχρίσας. . . — τὸ Σατανικόν ἱππλάσιον καὶ τὸν φιλοδαίμονα ἡνίοχον, ὅνπερ καὶ ουρανικὸν ὠνόμασεν, ὡς αὐτοῦ προσφιλῆ . . . ἀνίστάρησεν, ὑπὲρ τοὺς ἅγ Πατέρας τούτων τιμήσας“.

вехи полета злобствующей фантазии: увлечен лошадьми, наездники — первые друзья, милее св. отцов, сам вечно в конюшнях, пропитан навозом и мочой лошадей, как истый лошадики — Καβαλλίνος,¹ а далее — и сам полон скверны и навоза, настоящий Копроним. И родился полный этой скверны и крещение осквернил тем же. Я настаиваю на такой эволюции „копронимии“ Константина V, так как только с принятием этой „кривой“ становятся понятными указания Феофана, который воспринимал православную легенду о Константине V уже в завершённом составе, даже больше, когда уже эпизод при крещении, вытекший из „лошадничества“ Константина, успел оторваться от последнего и превратиться в самостоятельный.² Так можно объяснить себе происхождение у Феофана странного на первый взгляд обвинения Константина V в Καβαλλίαις τὲ κόπροις καὶ οὐραῖς ἀπατάσθαι,³ которое могло возникнуть как злобная карикатура на прославленное со стороны иконоборцев увлечение императора Константина спортом.

Что касается другого обвинения в разврате и всех пороках, то в унисон с Феофаном поют ту же песню и патр. Никифор⁴ и Жития св. Стефана и Никиты Мидийского.⁵ И сам Феофан в последующем повествовании не раз возвращается к этому сюжету.⁶ Можно, конечно, верить и не верить этим утверждениям Феофана, но не в этом дело: утверждения — гол о словны, так как Феофан не иллюстрирует их никакими фактами. Константин V мог быть и очень безнравственным и развратным человеком, но ясно, что Феофану, только хотелось, чтобы так было, но он ничего не знал об этом. Иначе он охотно привел бы фактические доказательства. В такой же общей форме эти обвинения выдают свое чисто диалектическое происхождение как антитезы иконоборческого панегирика и показывают отсутствие у Феофана всякого материала для отрицательного суждения о Константине V.

Наконец, самое тяжелое обвинение, выдвигаемое Феофаном против ненавидимого императора, заключается в „отступлении от Иисуса Христа, богородицы и всех святых и в тяготении к колдовству, язычеству с кровавыми жертвами и обращениями к демонам“. Повторяемое на разные лады во всех известных нам писаниях той же эпохи, оно особенно характерно для мстительного монашества и иконодулии.

¹ Странно только, почему это „лошадиное“ прозвище выражено на латинском языке. Может быть, здесь надо видеть указание на ту „книжно-интеллигентную“ среду, в которой изобретено было наименование?

² Происхождение имени Копронима равно как и Кабаллина из увлечения Константином лошадьми отстаивал еще Ранке — Weltgesch. V, 80; а за ним Шварцлозе — Bilderstreit, 58 и Lombard — Constantin V, 12—13.

³ Ср. Theoster. Vita Nicetae A. S. S., apr., I, XXIV. „Τοσοῦτον δ' ἔχαιρεν τῇ δυσωδίᾳ τῆς ἀκαθαρσίας ὁ δυσωδέστατος, ὡς καὶ τὰ ἀλίθγηματα τῶν ἀλβῶν χρίσθαι καὶ τοῖς συν αὐτῷ τούτο ποιεῖν παρεχέμεσθαι, οὐς ἐθεραπευεν...“ Niceph. Antirr. I (Migne, 100, 295): „τῆς κοπρίας ἢ υπάλειψις“.

⁴ Antirr. I (Migne, 100, 20 (и III), i: id., стр. 504).

⁵ Например, Migne, 100, 1172 и 1178 и A. A. S. S. loc. pr. cit.

⁶ Например, 442, 28. „αὐτὸς δὲ κιδαρωδίας ἔχαιρε καὶ συμποσιασμοῖς, αἰσχρολογίας τε καὶ ὀρχησμοῖς ἐκταιδεύων τοὺς περὶ αὐτόν“. 443, 8—ff. „καὶ μάλιστα τοὺς ἐγγύχονας αὐτῷ καὶ μυσίας γενοῦσας τῶν αὐτοῦ ἀσελγείων καὶ ἀρρητοποιῶν θανάτῳ καθυπέβαλεν...“ И далее: „Στρατήγιον... ἀστειῶν ὄντα τῷ εἶδει προσλαβόμενος (ἐφίλει γὰρ προσοικειοῦσθαι τοῖς τοιοῦτοις διὰ τὰς ἀκολασίας αὐτοῦ) αἰσθόμενος τε αὐτὸν ἀηδῶς ἔχοντα πρὸς τὰς ἀδεμίτους ἀνδρομανίας αὐτοῦ...“ Заметим кстати, что эпизод с казнью Стратегия очень неловко придуман Феофаном: он сам (438, 10) называет Стратегия в числе 25 сановников, которые были казнены, „ὡς κατὰ τοῦ βασιλέως πονηρὰ βουλευσάμενοι“, что подтверждается и Никиф. Ιστορ. συντ. 72, 74, 18; и непонятным образом дублирует гибель этого знатного юноши. Между тем этого эпизода, связанного с св. Стефаном, не знает автор жития последнего.

В один голос: и Феофан, и патр. Никифор,¹ и наиболее авторитетные агиографы — Феостирикт² и диакон Стефан,³ и *Oratio contra Const. Caball.*⁴ и т. д. заявляют о великой разнице между нечестием Льва III и его сына. Лев начал иконоборчество, но затем явился Константин, несравненно более нечестивый, предтеча антихриста, объявивший войну всей правой вере, выступивший врагом Христа, богородицы и всех святых, проявивший явную склонность к язычеству, чернокнижью и магии. Диакон Стефан прямо сообщает, что император поклонялся Дионису и посвятил его культу старинный загородный храм, где происходили даже человеческие жертвоприношения.⁵ Можно сказать, что эти обвинения Константина V представляют собой общее место в православной исторической и богословской литературе IX в. Несмотря, однако, на такое единодушие и уверенность, с которыми они выражены здесь, мы должны отнестись к ним в высшей степени подозрительно, и прежде всего потому, что они просто невероятны для византийского императора VIII в. Кроме того, совершенно же ясно их происхождение, с одной стороны, как ответа на иконоборческие упреки „православию“ в раздроблении Христа, отождествлении иконы с божеством и языческом идолопоклонстве, а с другой — как противоположения иконоборческому же восхвалению этого императора именно как нарочито возлюбившего Христа, утвердившего правую веру, провозгласившего нераздельность двух естеств Христа и освободившего христианство от идолов и служения им. В частности, Феофан мог в своей контрхарактеристике исходить из своего возмущения, охватившего его при чтении панегирика Константину, стоявшего в его источнике. Наконец, подозрительность наша по отношению к основательности этих обвинений должна смениться полным недоверием, лишь только мы обратимся к тем декларациям, которые вынесены были на Соборе 754 г. относительно почитания и богородицы и всех святых.⁶ Отступление от них, иллюстрированное даже многочисленными анекдотами и свидетельствами лиц, якобы слышавших подобные нечестивые признания императора собственными ушами, не только невероятно, но опровергается документальными данными.

Увлеченный „уничтожением“ Константина V, Феофан принужден был указать, что все (христиане), т. е. большинство населения, никогда не относились сочувственно к этому „тирану и извергу“: лишь некоторые „сбитые с толку людишки“ (*τοῖς καὶ νῦν πλανημένοις ἀθλοῖς ἀνδραρίοις*) верили в его „избранничество и богоугодность“. Очевидно, он и поспешил воспользоваться не совсем спокойным и гладким утверждением Константина во власти, чтобы доказать свою мысль.

¹ Antirr. III у Migne. Patr. Gr. 100, 532.

² V. Nicetae. A. A. S. S., apr., I, XXIV—XXVIII.

³ V. Steph. Jun. Migne, 100, 1110.

⁴ Migne 96, 337.

⁵ Migne 100, 1169 В. „Ὅδὲ . . . βασιλεὺς, ὁ πᾶσαν Ἑλληνικὴν σπονδὴν μουσαφάτως ἐτελεῶν . . . Διόνυσον καὶ Βρούμον εὐφημῶν . . . καὶ Μαύραν τὸν τόπον ὀνόμασεν, ἔνθα καὶ τὰς πρὸς τοὺς δαίμονας συνθήκας ἐποιεῖτο. Καὶ μαρτυρεῖ τὸ εἰς θυσίαν δοθὲν τοῦ Σουφλαμίου παιδάριον . . .“

⁶ „Кто не исповедует, что приснодева Мария воистину богородица, что она выше всякой видимой и невидимой твари, и не просит у нее ходатайства с искренней верой, как у имеющей дерзновение к рожденному от нее богу нашему — анафема“.

„Кто не исповедует, что все святые досточтимы перед очами его как по душе, так и по телу, и не просит молитв у них, как у имеющих дерзновение, согласно церковному преданию, ходатайствовать о мире — анафема“. См. в Деяниях VII Вселенского собора. Mansi XIII.

Может быть, это была и просто смелая догадка с его стороны, но он решительно переработал сообщение своего общего с патр. Никифором источника о начале смуты после смерти императора Льва III. Оттого у него и получились такое значительное расхождение с *Ἱστορία συντομος*, строже придерживавшейся источника:

Theoph. 413.²⁵ ἐπεὶ δὲ τὴν πατρικὴν ἀρχὴν σὺν τῇ κακίᾳ προσέλαβεν... οὐ μικρὰ γὰρ αὐτὴν βλέποντας πάντας (χριστιανούς) κατέλαβεν ἀθυμία, ὥστε ἐκ προομιῶν... μισῆσαι αὐτόν, καὶ Ἀρταυάσδω... προστεθῆναι... καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῷ (ὡς ὀρθόδοξῳ) παραδῶναι.

Niceph. 59.¹³ Λέων... μεταλλάττει τὸν βίον... διαδοχὸν δὲ τῆς ἀρχῆς τὸν ὕ Κ. καταλαμβάνει. Ἀρτάβαζος δὲ... ἠυλιζέτο. καὶ δὴ τυραννίδα εἰδύς κατ'αὐτοῦ μελετᾷ, τὸν τοῦ πενθέρου θάνατον πυθόμενος. καὶ ὄρκοις τὸν ὑπὸ χεῖρα κατεδέσμευε λαὸν αὐτῷ μὲν εὖσθαι, ἕτερον δὲ εἰς βασιλέα μὴ δεχεσθαι.

Таким образом, узурпационная попытка, предпринятая на свой риск зятем Константина Артаваздом, причем в дальнейшем ему пришлось перетягивать столичное население на свою сторону посредством обмана (будто Константин умер) и удерживать посредством клятв, у Феофана неожиданно превратилось в народное движение и в провозглашение Артавазда императором вместо ненавидимого всеми Константином. Что это собственная переделка Феофана, доказывается тем, что он не выдерживает принятого тона и очень быстро подчиняется рассказу источника, заставляя, согласно с Никифором, Артавазда переубеждать в свою пользу тот народ, который будто бы его выдвинул, лживым уверением, будто Константина уже нет в живых,¹ а Артавазд провозглашен императором всеми фемами. И хотя Феофан тотчас же пытается сгладить неказистый поступок узурпатора, симпатий к которому он не скрывает, заявлением о том восторге, с каким принята была народом весть о смерти Константина V,² но этой новой самостоятельной переделкой рассказа источника (так как она не поддерживается Никифором) создает в своем повествовании великую путаницу. На самом деле народ, конечно, не мог „извергать“ Константина за то, что он „негодяй и враг бога“ (*ἀλάστωρ καὶ ἀντίθεος*), так как рано было еще судить о нем и радоваться его гибели как избавлению от величайшей беды, равно как не мог тот же народ провозглашать Артавазда как православного и поборника божеских догматов (*ὡς ὀρθόδοξον καὶ θεῶν δογμάτων ὑπέρμαχον*), так как он, будучи близким ко Льву и действуя все время рука об руку с ним, скорее был иконоборцем.³ И вообще надо сказать; что „народ“, вопреки уверениям Феофана, с самого начала иконоборческого движения до первой „ирининской“ реакции по крайней мере безмолвствовал, если не был на стороне правительства. Главное недоразумение заключается в выдуманном и мало понятном привлечении к участию в перевороте иконоборческого патриарха Анастасия. Выступление его, всем

¹ 415.². „Ἀρτ. δὲ γράφει πρὸς Θεοφάνην... ὁ δὲ προσκείμενος τῷ Ἀρταυάσδω, σωφρεύσας λαόν... καὶ διὰ τῶν γραμμάτων καὶ τοῦ λεχθέντος Ἀθανασίου πείθει πάντας, ὡς ὁ βασιλεὺς τέθνηκεν...“

² Theoph. 415.²⁸. „Τότε δὲ πᾶς ὁ λαὸς σὺν Ἀναστασίῳ τῷ ψευδωνύμῳ πατρ. ἀναδέματι καὶ ἀνασκαφῇ ἔβαλον αὐτόν ὡς ἀλάστωρα καὶ ἀντίθεον, καὶ ἰστέως τὴν αὐτοῦ ἐδέξαντο σφαγὴν ὡς μεγίστου κακοῦ λυτρωθέντες, Ἀρτ. δὲ ἀνεκέρυττον βασιλέα ὡς ὀρθόδοξον καὶ θεῶν δογμάτων ὑπέρμαχον.“

³ Феофан и Никифор говорят о восстановлении икон в Константинополе вступившим туда Артаваздом, но этому сообщению едва ли следует верить, так как ни тот, ни другой не указывают, когда при Льве III эти иконы были уничтожены.

известного, „погубителя“ патр. Германа, верного сотрудника правительства Льва III и Константина весьма изумительно, особенно в клятве перед всем народом, будто Константин сам ему говорил: „Не почитай сыном божим рожденного Марией, глаголемого Христа, но простым человеком: ибо Мария родила его, как и меня моя мать Мария!“ Но, пожалуй еще более изумительно то, что, по Феофану,¹ этот изменник и предатель, оклеветавший своего государя перед богом и народом, дважды во главе последнего анафематствовавший и „извергавший“ Константина, провозглашавший „православного“ Артавазда, — восторжествовавшим Константином не был уничтожен наравне с главнейшими участниками смуты и сторонниками Артавазда, а только предан позорному наказанию: был бит и, посаженный на осла лицом к хвосту, проведен был перед народом по гипподрому. А потом, как единомышленник (?!) императора снова был посажен на святейший трон. Получается невозможная путаница, которой избежал патр. Никифор, совершенно не вводящий в рассказ о мятеже патр. Анастасия, не упоминающий о нем и в ликвидации смуты. Почти нет сомнения в том, что эти лишние против Никифора эпизоды вписаны Феофаном не из источника, а „от себя“ и притом по недоразумению. На это недоразумение указывал еще Папарригопуло,² считавший все рассказы Феофана о патр. Анастасии вымыслом. Примыкая к нему, проф. И. Андреев³ настаивает на его предположении, что Феофан, писавший или по памяти, или по изустной передаче, в данном случае перенес на Анастасия то, что постигло его преемника по кафедре, патр. Константина. С этим мнением нельзя не согласиться; только мне кажется, что здесь мы имеем дело со стороны Феофана не столько с перенесением жестокого обращения Константина V с одного патриарха на другого, сколько с дублированием страшного события, за возможность которого Феофан мог охотно ухватиться и для того, чтобы ярче показать кровожадность и жестокость „дикого зверя и тирана“. Ведь рассказ о злоключениях Анастасия, он в своем месте без всяких колебаний повествует о преследовании и казни патр. Константина, спокойно повторяя о тех позорных наказаниях по отношению к последнему, каким раньше был, по его сообщению, подвергнут Анастасий.

В достоверности позорной казни патр. Константина сомневаться нет оснований, так как о ней в близких к Феофану выражениях сообщает и патр. Никифор. Можно думать поэтому, что рассказ о ней стоял и в той иконоборческой хронике, которую оба историка выписывают.

Повидимому, события, с которыми связаны были суд над патриархом и предание его позору и смертной казни, были весьма крупными и излагались в источнике, свидетельством чего служит довольно подробный пересказ их не только у Феофана, но и у сжимающего обычно повествование Никифора. Это был значительный заговор, составившийся в среде виднейших сановников против царствующего императора, которому во второй раз угрожала серьезная опасность лишиться престола (первый раз именно — в виду попытки Артавазда). Заговор был открыт, и целых девятнадцать очень видных сановников

¹ 420,27. „Ἰπτικὸν δὲ ποιήσας εἰσῆγαγε Ἀρτανάσδον σὺν τοῖς υἱοῖς. . . δεδεμένους δια τοῦ δῆπτιου ἄμα Ἀναστασίῳ τῷ ψευδ. π. τυφθέντι δημωσίως καὶ ἐπὶ ὄνου ἐξανστροφα καθημένῳ, ὄν. . . ἐπόμπευσεν, πάλιν δὲ ὡς ὁ μὲν ὄφρονα αὐτοῦ ἐκφοβήσας καὶ δαυλώσας ἐν τῷ θρόνῳ τῆς ἱερωσύνης ἐκάθισεν“.

² Ἱστορία τοῦ ἑλλ. ἔθνους — т. III, 432 ff.

³ Герман и Тарасий, патриархи. 37—38.

(ἐπίσημοι ἄρχοντες) были преданы публичному позору и казни. Патр. Никифор, а особенно Феофан, перерабатывая источник, не преминули выразить сомнение в действительном существовании заговора, причем последний с обычной для него безапелляционностью заявляет: ¹ „Ἦχθησαν... ἄρχοντες ἰθὺς καὶ ἐπόμπησαν ὡς κατὰ τοῦ βασιλέως πονηρὰ βουλευσάμενοι, συκοφανθέντες οὐκ ἐν ἀληθείᾳ, ἀλλὰ φθονῶν αὐτοῖς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ εὐεθεῖς καὶ ῥωμαλέους καὶ παρὰ πάντων ἐπαινούμενους, τινὰς δὲ αὐτῶν καὶ δι' εὐλάβειαν καὶ ὡς εἰς τὸν προῤῥηθέντα ἔγκλειστον (Стефан Новый) ἀπερχομένου...“ Ясно далее, что в связи с раскрытием этого заговора была установлена причастность к нему и патр. Константин. Но исправлением показаний источника Феофан (отчасти и Никифор) приведен был к необходимости превратить разрыв между императором и патриархом в ничем не мотивированный и непонятный, так как, если сановники были замучены Константином из зависти к их блеску и популярности, то по каким побуждениям мог „вознеистовствовать“ Константин против патриарха, им самим поставленного и остававшегося единомышленным ему (σύμφρων αὐτοῦ)?

Если мы сопоставим повествования Феофана и Никифора о гибели патр. Константина,² то из поразительных фактических и словесных совпадений убедимся в заимствовании его Феофаном из общего с Никифором источника, но отсюда же мы почерпнем и разгадку удвоения этого события Феофаном. Легко заметить аналогичность всех обстоятельств, окружающих и сопровождающих преследование того и другого патриарха, как они изображены Феофаном. Там и здесь налицо заговор и узурпационная попытка, направленная против Константина V; там и здесь восторжествовавший император одинаково расправляется с главными участниками движения — очень видными сановниками (одинаковое проведение по гипподрому с преданием публичному позору и затем жестокие казни). Разгром второй попытки, связанной с именами братьев Подопагуров, повел к позору и казни патриарха. Мне представляется совершенно естественным, что Феофан в то время, когда он еще составлял повествование о царствовании Льва III и заносил в свою летопись рассказ о столкновении патр. Германа с будущим его преемником по кафедре Анастасием,³ еще не успел отчетливо изучить события царствования Константина V. Он смутно помнил лишь, что с иконоборческим (σύμφρων αὐτοῦ) патриархом этот император жестоко расправился, предав его позорному наказанию именно на гипподроме (εἰς Δίππιν), раздраженный на него за его измену и причастность к заговору. Комментируя обращение Германа к наступившему на край его мантии Анастасию: „Μὴ σπεῦδε, φθάσεις γὰρ εἰσελθεῖν εἰς τὸ δίππιν“, обращение, в котором, как и во всех изречениях Германа, Феофан и вообще „православная“ среда неуклонно усматривала пророческий смысл, он, по невольной ассоциации (εἰς Δίππιν), вспомнил позорное введение в гипподром на осле патриарха, уличенного в участии в заговоре, перепутавши, однако, узурпационные попытки. Позднее, когда он дошел в повествовании до борьбы императора Константина V с Артаваздом, он мог даже убедиться в ошибочности своего предварительного сообщения, но эта ошибка бледнела и отходила на второй план перед необходимостью исполнения пророчества

¹ Theoph. 438,2 ff.

² Theoph. 438,28—439,5 = Niceph. 74,21—75,4;

Theoph. 441,5—442,12 = Niceph. 75,5—22

³ Theoph. 408,6—12.

патр. Германа. Ему уже волей-неволей пришлось ввести патр. Анастасия в качестве действующего в смуте лица и, в осуществление предсказаний вещего (Ἐσπέρσιος¹) Германа, предать его позорному наказанию на гипподроме. Если бы Анастасий действительно вел себя в дни смуты так, как изображает Феофан, и если бы Константин V карал его заодно с Артаваздом, то едва ли ему удалось бы уцелеть: за такие тяжкие преступления против государя, как предание его проклятию и „извержение“ его, как всенародное под присягой обвинение его в непризнании Христа сыном Божиим, его едва ли могли только пострадать да посрамить, тогда как патр. Константин, хотя он был таким же σύμφρων императора, был беспощадно казнен за менее серьезные проступки. Но умертвить Анастасия Феофан не мог, так как он уже знал, что он патриаршествовал вплоть до времени иконоборческого собора: он чисто логическим путем установил факт пощады Анастасия Константином и восстановления его в сане патриарха, не приняв в расчет немыслимости такого факта: опозоренный публично, всенародно даже просто битый (τυφθεῖς²), а не ослепленный, проведенный в нагом виде верхом на осле, лицом к хвосту по всему скаковому полю, как он мог потом благословлять и поучать самый народ, который был свидетелем и даже участником в его унижении и опозорении? Наконец, и самая мотивировка неожиданно мягкого отношения императора к изменнику-патриарху, как ее ставит Феофан,³ едва ли приемлема. Справедливо замечает проф. Андреев,⁴ что такое объяснение фальшиво. Феофан как бы дает понять, что Константин не хотел расстаться с Анастасием, так как другого единомышленного патриарха ему трудно было бы найти, но всего через несколько лет нашел же он целых три с половиной сотни епископов, на Соборе 754 г. утвердивших его реформуацию.

Продвигаясь дальше в наблюдениях за тем, насколько исправно и согласно между собой Феофан и Никифор экцерпируют общий источник в пределах повествования о „внутренних“ событиях царствования Константина V, мы замечаем, что патр. Никифор довольно полно и отчетливо, в течение целого ряда лет отмечает все факты данной категории, не отставая от Феофана, хотя и сжимая самые сообщения; и таким образом, он здесь является особенно важным свидетелем для проверки и документальности Феофана (т. е. зависимости его от источника).⁵ И здесь с великим изумлением мы должны констатировать, что даже такое капитальной важности сообщение, как рассказ о знаменитом Соборе 754 г., — оба историка, судя по тождеству состава и сходству некоторых уцелевших от переработки выражений, берут из иконоборческой хроники, а не составляют самостоятельно на основании каких-либо иных материалов.

¹ Theoph. 408,19.

² Если принять чтение перевода Анастасия против единогласного во всех греческих рукописях Феофана — τυφλωθείς.

³ 421,1 — „Πάλιν δὲ ὡς ὁμοφρονα αὐτοῦ ἐκφωβήσας καὶ δουλώσας ἐν τῷ θρόνῳ τῆς ἰερωσύνης ἐκάθισεν. . .“

⁴ Op. cit. 38, прим.

⁵ а. 746 (6237) — взятие Германикеи; а. 747 (6238) — Великая чума; а. 748 и 749 — восточные события, не выписываемые Никифором; а. 750 (6241) — рождение у императора сына Льва (Землетрясение в Сирии и чудо в Месопотамии); а. 751 (6242) — венчание Льва; а. 752 (6243) (Взятие Мелитины и Феодосиюполя); а. 753 (6244) — знаменательный пропуск у Никифора известия о каждодневных силенциях Константина; а. 754 (6245) — смерть патр. Анастасия; иерейский собор.

Theoph. 427²⁵. Τούτῳ τῷ ἔτει Ἀναστάσιος ὁ ἀνιέρως τοῦ θρόνου Κ. ἠγησάμενος τέθνηκε. . . . τῷ δ' αὐτῷ ἔτει καὶ Κ. ὁ δυσσεβὴς κατὰ τῶν ἀγ. καὶ σεπτῶν εἰκόνων παράνομον συνέδριον τλή ἐπισκόπων συνέλεξεν ἐν τῷ τῆς Ἱερείας παλατίῳ ὧν ἐξῆρχε (Θεοδοσίος) ὁ Ἐφέσου υἱὸς Ἀψιμάρου καὶ Παστιλλᾶς ὁ Πέργης. Οἱ κατ' ἑαυτοὺς τὰ δόξαντα δογματίσαντες, μηδενὸς παρόντος ἐκ τῶν καθολικῶν θρόνων Ῥώμης, φημί, κα. . . ἀπο ἰ τοῦ Φεβρ. μηνὸς ἀρχόμενοι διήρχεσαν ἕως ἡ' τοῦ Αὐγ. . . Καθ' ἣν ἰν Βλαχέρναις ἐλθόντες οἱ θεοτόκου πολέμιοι (sic!) ἀνῆλθε Κωνστ. ἐν τῷ ἀμβωνι κρατῶν Κ. μοναχόν, ἐπίσκοπον γενόμενον τοῦ Συλλαίου καὶ ἐπευξάμενος ἔφη μεγάλη τῆ φωνῇ „Κ. οἰκ. πατρ. πολλὰ τὰ ἔτη. . . ἀνῆλθεν ὁ βασι. ἐν τῷ Φθῶρ συν ἰ. τῷ ἀνιέρφ. πρεσβῶρ καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπισκόποις, καὶ ἐξεφώνησαν τὴν ἑαυτῶν κακὸδοξὸν αἵρεσιν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ ἀναθεματίσαντες Γερμανὸν τὸν ἀγ. καὶ Γεώργιον τὸν Κύπριον καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσόρῳαν Δαμασκηνὸν τὸν Μανσοῦρ ἀνδρας ἀγ. καὶ αἰδες. διδ.

Niceph. 65²⁴. . . Ἀναστάσιος ὁ τοῦ Β. ἐτελευτα ἱεράρχης.

Κ. δὲ καθ' ἀπαξ πρὸς τὴν ὕβριν τῆς ἐκκλησίας ἰδὼν καὶ πρὸς τὴν εὐσεβειαν ἤδη ἀπομαχόμενος, ὡς ὑπὸ τοῦ ἄγοντος αὐτὸν ἐναντίου πνεύματος κινούμενος, σύνοδον ἱερέων ἀθροίζει ὅκτῳ καὶ τριάκοντα καὶ τριακοσίους τὸν ἀριθμὸν τυγχάνουσαν (ταύτης ἐξῆρχε Θεοδοσίος ὁ τῆς Ἐφεσίων πόλεως ἀρχ.) ἀρχιερέα τε τῆς πόλεως ἀνακηρύσσει Κωνσταντινὸν τινα τὸ τῶν μοναχῶν σχῆμα περιβεβλημένον, ἐπίσκοπον δὲ τῆς τοῦ Συλλαίου πόλεως γεγονότα

ὄρον δὲ πίστεως ἐκτίθενται, ἐν ᾧ ὑπεσημήναντο ἅπαντες κακῶς καὶ δυσσεβῶς συμφρονήσαντες, τὴν τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων καθ' αἵρεσιν ἐκφώνησαντες καὶ ὡσπερ νηπιωδεῖς ἐπ' ἀγορᾶς ταῦτα ἀνεθεματίζον μεθ' ὧν καὶ Γερμανὸν τὸν ἀρχιερέα τοῦ Βυζ. γεγονότα Γεώργιον τε τὸν ἐκ Κύπρου τῆς ἡσπὸ ὀρμώμενον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀπὸ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας το ἐπίκλητῶν Μανσοῦρ

Хотя оба историка, конечно, в душе должны были придавать большое значение собору 348 епископов, заседавшему более полугодом и выработавшему постановления, которыми руководились и государство и церковь в течение более тридцати лет, но они не хотят этого показать, стараясь говорить о нем как о ничтожном событии. Ведь и Феофан и Никифор составляли свои летописи в промежутке между 787 и 815 гг., когда „православие“ выступало с уверенностью в окончательном торжестве. Феофан в своем рассказе берет даже иронический тон, с презрительной усмешкой изображая, как заседал этот незаконный синод епископов, догматизируя все, что им самим заблагорассудилось, при полном отсутствии патриархов, с февраля по август, как потом, уже во Влахернах, император, вытащив на амвон некоего Константина — монаха, помолился и гаркнул: „Константину, вселенскому патриарху, многая лета!“ Мы не знаем, что стояло в источнике, который перерабатывает Феофан: может быть, он многое и опускает. Но ясно, что он дает злобную карикатуру на некоторые моменты собора, изображавшиеся в иконоборческой хронике, вероятно, в противоположном, торжественном тоне. Если бы случайно не сохранился *ἄρος πίστεως* этого собора в актах VII Вселенского собора и мы судили бы о нем только по данным хронографии, то, конечно, мы сочли бы его за жалкую и комическую пародию на вселенский синод, к которой по заслугам отнесли бы с презрением современники: и свои и чужие. Едва ли необходимо напоминать о том, что оба историка должны были прекрасно знать о том, что происходило на

VII Вселенском соборе, должны были быть осведомлены и о важных постановлениях Собора 754 г., подробно разбиравшихся и опровергавшихся там. Хотя на обсуждение Собора 787 г. поставлено было далеко не все, что явилось результатом продолжительных соборных заседаний с февраля по август 754 г., все-таки даже и в таком ограничении этот *óρος πίστεως* представлял собой нечто весьма крупное и значительное, о чем хронист-исповедник обязан был сообщить. Но оба они, и Феофан и патр. Никифор, упорно не желают считаться с действительным учением „иконоборчества“. Второй даже в своем основном произведении — трех Антирретиках имеет дело не с этой официальной декларацией иконоборчества, а с каким-то проблематическим трактатом „Мамоны“, в котором некоторые исследователи пытались усмотреть то предварительные *προγράμματα*, разосланные императором всем епископам перед собором,¹ то особое богословское произведение Константина V, в котором он выражал свои взгляды, значительно более радикальные, чем установленные на соборе.² Видно по всему, что поздним оппонентам иконоборчества (т. е. уже начала IX в.) казалось не особенно выгодным и удобным иметь дело с иконоборчеством в том выражении его сущности, какое дано было Собором 754 г. Может быть, им памятна была не совсем удавшаяся попытка отцов VII собора опровергнуть именно такой состав иконоборчества. Они и предпочитали вместо исторической действительности оперировать с легендой „о злейшей из ересей“. Ведь если бы Феофан пожелал иметь перед собой хотя бы известную нам часть *óρος* 754 г., ему бы необходимо стало снять с ненавистного ему Константина V целый ряд тягчайших обвинений, которыми он его клеймит во имя своей „правды“. Таким образом, в передаче Феофаном этого центрального события иконоборческого движения мы особенно чувствительно и больно сталкиваемся с главным своеобразием исторической его работы, которое почти несправимо затрудняет пользование им как источником по истории иконоборческого движения. Мы явственно ощущаем у него присутствие его источника, из которого он заимствует фактический материал. Но к сожалению, это — далеко не простое заимствование, даже не экцерпирование материала с „перосвещением“ с своей точки зрения, а нечто большее: основная, ни на мгновение не отодвигаемая задача Феофана — разгром „нечестия и ереси“ и, поскольку он выступает историком, разгром утвердившихся и распространенных представлений о ходе и деятелях этого нечестия, а средство, поскольку опорой таких взглядов является „иконоборческая историография“ — неуклонная полемика с предшественником, опровержение, в котором беспощадно переделываются не только оценки фактов и отношения к событиям, но и самые эти факты и события. При таких условиях из повествования Феофана,³ в тех частях его, которые являются переработкой более раннего летописного произведения, мы более или менее в состоянии узнать, как в православно-исповеднических (монашеских) группах начала IX в. считалось должным и обязательным смотреть на „иконоборчество“ и представлять себе его состав и движение, но из-за этой „высшей правды об иконоборцах“ мы никак не можем рассмотреть исторической действительности VIII в.

¹ Меллоранский — Георгий Кипрский; 115 ff.

² Lombard. L'empereur Constantin V, 113 ff.

³ В общем то же самое придется потом сказать и о другом историке, патр. Никифоре.

6

Далее, приходится настаивать на заимствовании Феофаном из основного своего „источника“ такого сообщения, которому, на первый взгляд по крайней мере, как будто не должно было бы находиться места в иконоборческой хронике. Как ни странно, я разумею мученичество св. Стефана Нового, которое вдохновило диакона Великой Церкви Стефана приблизительно в те же годы, когда создавалась Хронография Феофана и, может быть, *Ἱστορία συντομῶς* патр. Никифора, к созданию большого жития этого мученика, признанного новейшими исследованиями¹ как одно из самых ярких и ценных в историческом отношении. Под влиянием такой высокой оценки этого жития, одного из наиболее читаемых² и влиятельных в агиографической литературе, высказывалось предположение о возможности влияния его даже на Феофана и патр. Никифора, по крайней мере в пределах сообщений о Стефане Новом и о других гонениях на благочестивых и иконопочитателей при Константине V. Хронологически такое взаимоотношение произведений могло быть допустимо, так как в точности фиксировать годы „выхода в свет“ почти одновременно составлявшихся хроник и жития все-таки немыслимо. Всматриваясь, однако, в сопоставленные между собой и являющие признаки несомненного родства и даже единого происхождения рассказы Феофана и патр. Никифора о мученичестве св. Стефана с Авксентиевой горы и прилагая их к огромному житию этого мученика, мы в конце концов все-таки должны притти к заключению о полнейшей независимости передач обоих историков от агиографического труда. С одной стороны, не может не казаться странным безусловно опустошенное изложение большого жития, передача огромного сочинения в двух-трех почти не отражающих его богатого содержания фразах, но что особенно поучительно, фразах одного и того же состава у обоих „эксцерпторов“. Так совпасть в сокращении и изложении сущности чужого труда можно только или при дружной совместной работе, или под влиянием одного на другого. Так как обоих последних условий предполагать нельзя, то сходство эксцерптов остается мало объяснимым чудом. Но чудо немедленно перелетается в несообразность, когда, с другой стороны, мы констатируем явные расхождения между Житием и единоголосием Феофана и Никифора. Самое заметное и отчуждающее из них касается формулировки обвинения, предъявленного Стефану правительством Константина V. В Житии, написанном диаконом Стефаном, преследование святого отшельника начинается с требования дать подпись под постановлениями Собора 754 г.,³ а после отказа его преступления выражены были в доносе на имя императора будто бы следующим образом: во-первых (и это главное), он анафемствует память императора, как еретика, называет его сирогеном и Виталом и, сидя на своей горе, рвет ямы против него — и т. д.⁴ Хотя затем его и стараются уличить в совращении в монашество наперекор

¹ В. Г. Васильевский. Житие св. Стефана Нового; Х. Лопарев. Византийские жития святых.

² О чем свидетельствует большое количество рукописей с этим сочинением, дошедших и до нас. Целый их ряд, между прочим, находится и в Московской синодальной библиотеке.

³ Migne. *Patrol. Gr.* 100, 1124. „... καὶ ὀρθόδοξοι ἡμῶν βασιλεῖς Κωνστ. καὶ Λέων χελεύουσι ὑπόγραψαι σε πρὸς τὸν τῆς ὀρθοδοξοῦ ἡμῶν συνέδου ὄρον“.

⁴ Migne 100, 1125 с. „Ὡς ὅτι πρῶτον καὶ ἐξάρτητον ἀνεθεματίζει σου τὴν μνήμην ὡς αἰρετικοῦ. Συρογενῆ τε καὶ Βιτάλην σε ἀποκαλεῖ. Καὶ βόδρους κατὰ σου ὀρύσσει ἐν τῷ ὄρει καθήμενος...“.

императорскому запрещению, но ясно и определенно этого именно обвинения не выдвигают в качестве заслоняющего остальные. Между тем у Феофана и у патр. Никифора, в полном согласии их между собой, выдвигается исключительно только последнее обвинение (в совращении в монашество); при этом патр. Никифор точно выписывает (в кавычках) самую формулу, но выписывает, конечно, не из Жития, так как там ее нет, да едва ли возможно ее таким образом и скомпоновать на основании этого произведения. Мысль об истечении сообщений Феофана и Никифора из труда диакона Стефана приходится решительно отбросить, но несомненным остается пользование со стороны обоих историков в передаче страшной участи св. Стефана — одним и тем же источником, что выясняется из нижеследующего сопоставления:

Theoph. 436, ²⁸—²⁸. Τούτῳ τῷ ἔτει (a. m. 6257), τῇ κ' τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς ἰνδικτιῶνος δ', ἑκμανῆς γενόμενος ὁ δυσσεβῆς καὶ ἀνόσιος βασιλεὺς κατὰ παντὸς φοβουμένου τὸν θεόν

== краткое, стянутое в одну общую фразу выражение расчлененного очерка Niceph. 71, ⁹—72, ⁹.

Theoph. 436, ²⁸. Στέφανον τὸν Νέον πρωτομάρτυρα σφραῖναι προσέταξεν ἔγκλειστον ὄντα εἰς τὸν ἄγιον Αὐξέντιον εἰς τὸ πλησίον ὄρος τοῦ Δαματρῦ: ὃν λαβόντες οἱ τῆς ἀπαιδευσίας αὐτοῦ μετέχοντες καὶ ὁμόφρονες αὐτῷ γεγονότες σχολαριοί τε καὶ τῶν λοιπῶν ταγμάτων καλωδίῳ δῆσαντες αὐτοῦ τὸν πόδα εἰλκον αὐτὸν ἀπὸ τοῦ πραιτωρίου ἕως τῶν Πελαγίου, ἔνθα καὶ διασπάσαντες ἔρριψαν τὰ τίμια αὐτοῦ λείψανα ἐν τῷ τῶν βιοθανάτων λάκκῳ ὡς πολλοὺς νουθετοῦντα πρὸς τὸν μονήρη βίον καὶ καταφρονεῖν πείθοντα βασιλικῶν ἀξιωμάτων καὶ χρημάτων αἰδέσιμος γὰρ ὁ ἀνήρ πᾶσιν ὑπῆρχε διὰ τὸ περὶ 5' χρόνους ποιῆσαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐγκλείστρᾳ καὶ ἀρεταῖς πολλαῖς διαλάμπειν.

Niceph. 72, ⁹. Ἐντεῦθεν συλλαμβάνονται Στέφανόν τινα, ἄνδρα ὅσιον καὶ θεοφιλῆ τυγχάνοντα, μοναστήν δὲ τῷ σχήματι καὶ περιεργημένον ἐν οἰκιδίῳ στενωπᾶτῳ πάνυ ὑπάρχοντα, ὑπὸ τῆν τοῦ μεγίστου ὄρους ἰδρυμένον ἀκρωρεῖαν, ὁ καλοῦσι τοῦ ὀσίου Αὐξεντίου λόφον ἐγκλημά τε εὐσεβείας ἐπάγουσιν αὐτῷ οἱ ἀνόσιοι, „ὡς πολλοὺς“, φασίν, „ἕξαπατᾶ διδάσκων δοξῆς τῆς παρούσης καταφρονεῖν οἰκων τε καὶ συγγενείας ὑπερορᾶν καὶ τὰς βασιλείους αὐλάς ἀποστρέφουσαι καὶ πρὸς τὸν μονηρῆ βίον μεταρρυθμίζουσαι“. καὶ διὰ ταῦτα πληγαῖς τε πλείσταις αἰκισάμενοι καὶ δεσμοκτήριον οἰκεῖν καταδικάσαντες, τέλος σχοινίοις αὐτὸν κατὰ τοὺς πόδας ἐξάψαντες καὶ τῶν βασιλικῶν ἀφορμήσαντες περιβόλων, μέχρι τῆς λεγομένης τοῦ Βοῶς ἀγορᾶς ἐλκύσαντες διέσπασαν, καὶ αὐτοῦ τὸ σῶμα ἐν τοῖς καλουμένοις τάφοις τῶν Πελαγίου ὡς κακούργου οἱ δυσσεβεῖς ἀπέρριψαν αὐτόθι γὰρ τὰ τε τῶν ἐθνικῶν ἀμυήτων σώματα καὶ τῶν ἐπὶ θανάτῳ ἀπηγορευμένην τελευτώντων ἐξεπέμπετο.

Замечательно то, что совпадение идет и в дальнейших пассажах:

Theoph. 437, ⁹. Πολλῶν τε ἀρχόντων καὶ στρατιωτῶν διαβληθέντων προσκυνεῖν εἰκό-

Niceph. 72, ²⁸. Πλείστους τῶν τε ἐν τέλει καὶ τοῦ στρατιωτικοῦ ὑπευθύνους καθιστῶντες,

νας διαφόροις τιμωρίαῖς καὶ
πικροτάταις χιχίαις τούτους
παρέδωκαν

Theoph. 437,¹¹ Ὁρκον δὲ καθο-
λικον πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν
αὐτοῦ βασιλείαν ἀπήτησεν
εἰκόσι μὴ προσκυνῆσαι τινα,
μεθ' ὧν καὶ Κωνστ. τὸν ψευδώνυμον
πατριάρχην ἐπὶ ἄμβωνος ἀνελθεῖν
καὶ ὑψῶσαι τὰ τίμια καὶ ζφο-
ποιὰ ξύλα καὶ ὁμοῦσαι πεποίη-
κεν, ὡς οὐκ ἔστι τῶν προσκυ-
νούντων τὰς εἰκόνας. Καὶ τοῦτον
παραυτὰ στεφανίτην ἀντι μοναχοῦ
ἔπεισε γενέσθαι καὶ κρεῶν μεταλαμβά-
νειν καὶ καθαρωδῶν ἀνέχεσθαι ἐν τῇ
βασιλικῇ τραπέζῃ.

προσκυνεῖν ἱεραῖς εἰκόσι κατα-
τιώμενοι, ὡσπερ ἐπὶ καθοσίωσει ἀλόντας
διέφθειραν, οὓς μὲν διαφόροις
θανάτοις παραδιδόντες, οὓς δὲ
τιμωρίαῖς ξένας καθυποβά-
λοντες, πλήθη τε ἄπειρα ὑπερορίαῖς
παράεμποντες.

Niceph. 73,⁴ Ἐφ' οἷς ὄρκοις
βεβαίουν ἐβουλεύσαντο ἅπαν
αὐτοῖς τὸ ὑπήκοον ὡς τὸ λοιπὸν
εἰκόσι μὴ προσκυνεῖν ἄγιων
τινά. Φασὶ δὲ ὡς καὶ τὸν τμη-
καῦτα τῆς πόλεως ἀρχιερέα
θεασάμενοι ὑψῶσαντα τὰ ζφο-
ποιὰ ξύλα ὁμωμοκέναι μηδ'
αὐτὸν εἶναι τῶν προσκυνούντων
τὰς ἱεράς εἰκόνας.

Предположение, что в этом большом очерке, распадающемся на целый ряд очень ярких, но расположенных даже в одинаковой последовательности эпизодов, явно совпадающих в значительной части выражений, Феофан и патр. Никифор встали сразу, как по команде, под воздействие нового источника, мне представляется мало приемлемым, так как, с одной стороны, кроме уже отвергнутого нами Жития св. Стефана, мы не знаем ни одного такого произведения, исшедшего с „православной“ стороны до 810 г., которым могли бы воспользоваться оба историка; а с другой — так как пришлось бы снова допускать совсем необычную для византийских хронистов IX в. компилятивно-эклектическую манеру составления труда. И почему, спрошу я, немисливо заимствование и этих сведений из постоянного иконоборческого источника? Почему в составе последнего им бы и не нашлось места, конечно, в соответствующих тонах и оценке? События, которых они касаются, являлись немаловажными как для той, так и для другой стороны. Возьмем ли мы преследования и казни „многих“ сановников и военных, отказавшихся примкнуть к санкционированной „вселенским“ собором правительственной реформации, или грандиозную всенародную присягу в верности этой реформации, или не менее торжественную клятву самого патр. Константина в непринадлежности к иконопочитателям,¹ или, наконец, страшное дело

¹ Что понималось, повидимому, несколько шире простого отказа от поклонения образам, потому что иначе самая клятва патриарха была бы странной и запоздалой демонстрацией. Ведь патр. Константин был носителем своего высокого сана уже на последних заседаниях Собора 754 г. и участвовал (судя по надежно выписанному сообщению Феофана, 428,⁸⁻¹²) во всенародной декларации иконоборчества („ἀνήλθεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ φόρῳ συν Κωνσταντίνῳ, τῷ . . . προέδρῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπισκόποις καὶ ἐξέφωνησαν τὴν αἴρεσιν ἐνώπιον παντός τοῦ λαοῦ“), и поводов заподозрить его отступничество от последнего, как такового, никаких нельзя себе представить. Если же мы обратим внимание на весь контекст Феофана и дальнейшие шаги патриарха свяжем с клятвой, то дело более или менее разъясняется. Поскольку установилось уже совпадение иконопочитания с монашеством, поскольку есть основания утверждать, что Собор 754 г. высказался в той или иной форме против существования монашества и поскольку, наконец, весь разбираемый нами очерк

Стефана, упорного и влиятельного руководителя монашества, выступавшего явным мятежником, смелым послушником постановлений собора и воли императора, — все это представляется для историка-иконоборца не менее достойным упоминания, чем для православного хрониста, только, конечно, с совершенно различных точек зрения. Первый, надо думать, и излагал все эти факты в восторженном тоне, как смелое и величественное проведение реформации и разгрома монашества. По крайней мере в передачах и Феофана и патр. Никифора можно подметить, сверх отращения к самим излагаемым фактам, еще некоторые следы ужаса и перед тем рассказом, из которого они узнали об этих событиях. Со скорбным трепетом сообщают они, словно отказываясь постигнуть, как возможно подобное извращение всех понятий, о преследовании и предании жестоким мучениям стойкого святого отшельника за то, как указывалось в источнике, что он многих совращал в монашество и убеждал презирать мирскую славу и царскую службу. С гадливым же изумлением пересказывают православные историки и известие о клятве патриарха перед животворящим древом, о его дальнейших выступлениях, причем Никифор считает нужным упомянуть об аутопсии („*φασὶ ὡς θεασάμενοι . . .*“) того повествования, из которого он почерпает сообщение.

Любопытным и характерным для Феофана как историка иконоборческого движения представляется то неуклонное его нежелание признать „монахомахию“ даже одной из главных линий „иконоборчества“ наряду с отменой почитания икон, которое у него проявляется несравненно упорнее и резче, чем у патр. Никифора. Для него, как он стремится показать, вся сущность „смуты“ — в „ереси“ и беснующемся нечестии императоров: гонение на монашество, глумление над монахами и преследование их, как изображено у Феофана, — все это явления производного характера. Монахов гнали и истребляли не как таковых, а как определившиеся, сплоченные группы стойких исповедников иконопочитания и борцов за поруганное православие. Тенденциозная искусственность такой конструкции иконоборчества, и до сих пор преобладающей в исторической литературе, изобличается уже более спокойным и беспристрастным изложением патр. Никифора,¹ который все-таки дает понять, что монахомахия при Константине V была самостоятельным движением, по своей значительности даже заслонявшим борьбу по вопросу о почитании икон. Вот что, думается мне, обусловило и в данном месте со стороны Феофана пропуск того общего очерка решительного натиска на монашество, который патр. Никифор предпосылает сообщению о мученичестве св. Стефана, связывая их словом *ἐντεῦθεν* и тем показуя, что в таком составе он застал повествование в своем источнике. Феофан же, избегая этого несоответствующего его воззрениям известия, сжал всю яркую картину в одну мало выразительную фразу: „*ἐπιμανῆς γενόμενος ὁ δυσσεβῆς καὶ*

касается этой двинутой после собора и в осуществление его предначертаний „монахомахии“, постольку выступления патриарха, взятые вместе, становятся целесообразными и необходимыми. Подтвердивши новой клятвой, что он примыкает к партии собора и реформации и что у него нет ничего общего с противоположной партией „почитателей икон“, он показал пример ревностного выполнения постановлений собора: он (пусть даже под давлением императора — *ἐπιτεσε*) отказался от своего монашества, вступил в брак, нарушил обет постничества и перешел к светскому образу жизни. С точки зрения „православия“ это было гнусное глумление над благочестием, но с точки зрения „реформации“ это было одно из крупнейших ее выступлений, акт решающего значения.

¹ Подробнее о конструкции иконоборчества у Никифора — см. ниже.

άνόσιος βασιλεύς κατὰ παντός φοβουμένου τὸν θεόν“ и превратил мученичество св. Стефана в одиноко стоящую, ничем не подготовленную дикую выходку „бесившегося“ Константина V. Но для изучающей историю иконоборчества необыкновенно важно отметить, что в иконоборческой среде, насколько возможно все-таки разглядеть ее точки зрения сквозь переработку в эскипах из иконоборческой хроники у Феофана и патр. Никифора, борьба с монашеством как таковым выдвигалась на одно из самых видных мест в составе движения.

И тем не менее факты оказывались сильнее схемы: словно помимо воли самого Феофана они прорываются у него сквозь тонкий покров общего построения. Мы замечаем это в продолжении того же повествования о годе а. м. 6257. Ведь не подлежит никакому сомнению, что точно фиксированное хронологически сообщение о монахоборческой манифестации в гипподроме, совпадающее с таковым же у патр. Никифора, снова является переведенной только в иной тон выпиской из руководящей хроники, продолжавшей ярко изображать великое гонение на монашество как одно из славных дел императора Константина V. Прочитаем параллельно эти рассказы:

Theoph. 437,²⁵ Καὶ τῇ κα' τοῦ Αὐγούστου μηνός (обращаю особенное внимание на точность даты) τῆς αὐτῆς δίνδακτιῶνος ἐστηλίτευσε καὶ ἠτίμασε τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν ἐπὶ τοῦ ἵπποδρόμου παραχλευσάμενος ἓνα ἕκαστον ἀββᾶν κρατεῖν γυναῖκα τῇ χειρὶ καὶ οὕτω παρελθεῖν αὐτοὺς τὸ ἵπποδρόμιον ἐμπυσιμένους καὶ ὑβρίζομένους ὑπὸ παντός τοῦ λαοῦ.

Niceph. 74,¹¹ Ἐτι δὲ πνέων κατὰ τῆς εὐσεβείας τὸ ἱερὸν τῶν Ναζηραίων σχῆμα καθύβριζεν, εὐθὺς γὰρ ἀγῶνα ἱππικὸν ἐπετελεῖ, καὶ τινὰς τούτων ἐπιτρέπει ἐν μέσῳ τῷ θεάτρῳ διέλκεσθαι καὶ αὐτῶν ἕκαστον γυναῖκα μονάστριαν παρὰ χεῖρα φέρειν πολλῶν τε παρὰ τοῦ πλήθους τῶν θεωμένων ὑβρεῶν αὐτοῖς καὶ ἐμπυσιμάτων, οἷα περὶ τὸ ὄχλωδες καὶ ἀγελαῖον συμβαίνειν εἶωθε καταχθέντων οὕτω τὸν ἄδραμον ἐκείνον καὶ αἰσχιστὸν διήνυσαν διάυλον.

Здесь, кроме точной даты у Феофана и снова поразительного совпадения даже в словах с Никифором, подсказывает пользование со стороны обоих источников именно враждебного направления еще и не совсем осторожное сохранение указания на участие в манифестации „всего народа“, поскольку православный историк усиленно старается показать социальную узость иконоборчества и несочувствие народа, христиан правительственной реформации. Патр. Никифор, как бы сознавая неловкость сообщения, пытается ослабить его значение вставкой: „οἷα περὶ τὸ ὄχλωδες κτλ“.

И следующий непосредственно за тем рассказ о разгроме заговора против императора, в который вовлечен и патр. Константин, выписывается Феофаном из иконоборческого источника, чему свидетелем является опять-таки патр. Никифор.¹ Последний более сух и сжат в своем эскипте, но зато и более корректен, чем Феофан, который желает по-своему понять сущность страшного события, вступая в краткую полемику с источником. Здесь причины жестокого умерщвления видных сановников приблизительно намечены были так же, как это осталось у патр. Никифора.² Против этого и вооружается

¹ Сопоставляются и обнаруживают большую близость друг к другу и происхождение из одного источника:

Theoph. 438,²—439,⁵ = Niceph. 74,⁸—75,⁴

Theoph. 440,¹¹—13 + 441,⁵—442,¹⁸ = Niceph. § 75,⁵—22.

² Theoph. 438,². „ἠχθῆσαν ἐπὶ ἵπποδρόμιας ἐπίσημοι ἄρχοντες ἰθὺς καὶ ἐπόμπευσαν, ὡς κατὰ τοῦ βασιλέως πονηρὰ βουλευσάμενοι συκοφαντη-

Феофан, заявляя, что сановники, которых постигли жестокие кары, хотя и были, как указано, в заговоре против императора, но „правда“ заключалась не в этом, а в том, что Константин V завидовал их блеску и популярности и озлобился на них за их общение с Стефаном Новым и восхваление его страданий. Наивная придуманность мотивировки, мне думается, ясна сама собой, характеризуя Феофана как историка-прагматиста, но в то же время снова явственно обнаруживая под его руками передельываемое „по правде“ иконоборческое повествование. Дальнейшее изложение разгрома заговора, который, несомненно, имел чисто политические мотивы, но который Феофан попробовал вначале насильно притянуть к церковно-религиозной борьбе, захват и ссылка патр. Константина на о. Иерью и на Принкип, суд над ним, позорное проведение его через гипподром на осле и, наконец, смертная казнь в Кинигии и поругание его трупа — все это, согласно изображенное у обоих историков с поучительным совпадением собственных имен, может быть принято как более или менее точная и исправная выписка из источника. Это выписывание чужого повествования, сопровождаемое лишь комментариями возмущения вроде: „ὡ τῆς ἀλογίας καὶ ὁμοτύτου καὶ ἀσπλαγγχίας τοῦ ἀνημέρου θηροῦ. οὐκ ἠδέσθη τὴν ἀγίαν κολυμβήθραν ὁ ἄθλιος... πάντοτε μὲν οὖν θηριαδὴς τὸν τρόπον καὶ ἀνημέρος ἦν“, Феофан ведет для того, чтобы показать всю извращенную бесчеловечность и гнусную скверну врага господ и богородицы и гонителя всего святого. Он довольствуется выступлениями Константина V, представленными в иконоборческой хронике, передавая их даже без особых исправлений, так как убежден, что факты сами говорят за себя. В этом смысле получают значение и прибавленные к казни патриарха под тем же годом эпизоды, уже как будто опускаемые патр. Никифором. Говорю: как будто — потому, что мы скоро убедимся, что все эти известия находят себе поддержку в *Ἱστορία σύντομος*, несколько иначе располагающей тот же материал. Я хочу сказать, что сообщение о захвате и казни св. Петра Стилита, продолжавшего вести свою иноческую жизнь, несмотря на императорские указы,¹ далее о напряжении террора против *οἱ εὐσεβοῦντες* (разумей: монашествующих), причем, кроме различных видов мучительства называются отчетливо главные сподвижники Константина V в монахомахии, можно счесть похожими на вышедшие все из того же основного источника. Они фактичны, они сохранили точные указания лиц, которые не могли просто запомниться в православной среде на протяжении полустолетия. Где, от каких памятливых старожилов мог он узнать (а в то же время и зачем бы ему специально понадобились) имена безвестных и ничем не выдавшихся единомышленников императора и руководителей монахомахии в столице: патрикия и доместика схол Антония и Петра магистра. К ним Феофан прибавляет и провинциальных, фемных „мнихоборцев“ — „уже упомянутых выше стратигов“,² разумея названных им под предшествующим годом (а. н. 6258) как вновь назначенных стратигов фем: азиатской — Михаила Мелиссина,

Ἰέντες δὲ οὐκ ἐν ἀληθείᾳ = Nicephorus, 74... ἄνδρας τινας τῶν ἐν ὑπερχαῖς καὶ ἀξιωμασιν ἐκλήμασι βαρυτάτοις συχοφαντῶν υπάγει ὡς εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῶ ἐπιβουλεύειν πειρομένουσιν“.

¹ Theoph. 442,19. „Ἀποστείλας γὰρ κατήνευχε Πέτρον τὸν αἰδιδίμον στολίτην ἀπὸ πέτρας (?) καὶ μὴ ὑπέβαντα τοῖς δόγμασι αὐτοῦ ζῶντα...“ Я не могу относить ζῶντα к πέτρας, так как это и синтаксически не безукоризненно и в достаточной мере бессмысленно.

² Theoph. 442,27 „ἐν δὲ τοῖς ἔξω θέμασι διὰ τῶν προῤῥηθέντων στρατηγῶν“.

фракийской — Михаила Лаханодроконта, букелларийской — Маниса. О них и главным образом о наиболее активном из них τῆς κακίας αὐτοῦ (т. е. императора) ἐπάξιους ἐργάτης, Михаиле Лаханодроконте, Феофан вписывает известия несколько раз: 1) и 2) 440,²⁴ по поводу их назначения императором и в разбираемом пассаже, 3) 445 (а. м. 6262) о решительном натиске на монашество со стороны Лаханодроконта во всей фракийской феме, 4) 445,²⁸ (6263) о разгроме всех монастырей и истреблении всего монашества в феме уполномоченными комиссарами Лаханодроконта. Едва ли будет рискованным, несмотря на молчание в данном случае патр. Никифора, все-таки возводить эти сведения о главных „монахомах“ к тому же иконоборческому источнику. Только в нем мог почерпнуть Феофан уже первое сообщение с точной хронологической датой¹ и с весьма отчетливым распределением новых стратигов по фемам: ни по памяти, ни по справке (да и зачем он мог об этом справляться?), ни, наконец, по какому-либо православному трактату (поскольку, кроме Феофана и Никифора, мы от конца VIII и начала IX в. общеисторических трудов не знаем) хронист не мог установить такого события, а в современной или почти современной, опубликованной хронике ему было совершенно естественно иметь место. Но спрашивается, зачем все-таки оно понадобилось Феофану, равно как и последующие сведения о терроре Лаханодроконта? Судя именно по последним, он интересовался из всех трех главных деятелей монахомахии почти исключительно Лаханодроконтом, который оставил по себе в монашеской среде, повидимому, тяжелую и страшную память.² Он очень долго стоял стратигом: погиб в сражении с болгарами уже при Константине VI (Ирине) в 791 г. Это „драконоименное наследие“ Константина V мог хорошо помнить и сам Феофан. Две ненавистные фигуры ассоциировались друг с другом. Страшный стратиг, во всем походивший на своего учителя,³ выполнявший все его желания, сливаясь в представлении Феофана с самим императором; и его неистовства еще ярче характеризовали мрачное царствование Константина V. Сталкиваясь в своем источнике (а в иконоборческой хронике об этом не могло не быть речи) с изображением монахоборческой ревности Михаила Лаханодроконта, Феофан не мог пройти мимо этих, действительно крутых „ἀνοσιουργήματα“. Он и передает их в общем, повидимому, так, как они были рассказаны в старой летописи: точно, живо и деловито, даже не передельвая, так как он опять-таки убежден, что факты говорят за себя. Первый из привлекаемых нами эпизодов стоит под а. м. 6262.⁴ В нем мы читаем о том, что Лаханодроконт согнал в Эфес всех монахов и монахинь, находившихся в пределах фракийской фемы, вывел их на равнину и заявил им: „Кто желает повиноваться императору и нам, пусть тотчас же облечется в светлое платье и возьмет себе жену; кто же не поступит так, будет ослеплен и сослан на Кипр!“ За словом последовало и дело, и много мучеников явилось в тот день. Но многие погубили себя отступничеством — к ним благосклонно относился Дракон. В том же индикте, в январе месяце у императора Льва и Ирины родился сын и был назван Константином, еще при жизни деда Константина. Самая

¹ Theoph. 440,²⁴. „Τῆ δ' αὐτῆ ε' ἰνδικτιῶνι προβάλλεται στρατηγούς ὁμόφρονος αὐτοῦ καὶ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπάξιους ἐργάτας . . .“.

² Имя это весьма распространено в агиографии.

³ Theoph. 445,³. „μιμησάμενος ὁ Λαχανοδράκων τὸν διδάσκαλον“.

⁴ Theoph. 445,³⁻¹⁴.

форма рассказа вместе с прибавкой о рождении Константина VI более всего похожа на выписку из старой летописи. Еще пассивнее заимка второго сообщения о разгроме монастыря Лаханодроконтом, где можно обнаружить только одну поправку со стороны Феофана: в конце, в фразе „ὁ καὶ μαθὼν ὁ μισάγαθος βασιλεὺς это μισάγαθος“ заменило, вероятно, φιλάγαθος источника. В остальном весь рассказ с полным правом мог стоять и в иконоборческой хронике,¹ особенно явственный след которой остался в цитате из благодарственного послания императора к Лаханодроконту: „ὁ καὶ μαθὼν ὁ βασιλεὺς ἔγραψεν αὐτῷ εὐχαριστίας λέγων, ὅτι „εὐρόν σε ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὅς ποιεῖς πάντα τὰ θελήματα μου“, а также в указании двоих комиссаров стратига, имена которых нигде в другом месте Феофан не мог бы почерпнуть.

Собирая вместе эти разбросанные у Феофана отдельные проявления и эпизоды крутого и решительного натиска на монашество как таковое, натиска, имевшего место не только в столице, но и по всей империи, мы, несмотря на то, что получаем впечатление действительно значительного и определенного в мотивах и замыслах движения, напряженного энергией Константина V, все-таки ясно можем разобрать, что Феофан многого не договаривает из того, что он почерпнул и узнал об этой стороне дела в своем источнике. Этого и следовало от него ожидать, поскольку у него свои взгляды на „иконоборчество“ и своя „правда“, которая, конечно, не совпадала с правдой иконоборцев. Последние в лице императорского правительства с поддержавшим его епископатом боролись с непомерным усилением монашества и ростом монастырей, в своей недосыгаемости и „экскуссивности“ становившихся для государства все более тяжелой обузой и грозной враждебной силой, а в своей аутодеспотичности для церкви и ее управления (епископов) — группами, ускользавшими из-под их воздействия. А летописец-исповедник старался выдвинуть на всезакрывающее место ересь и поход против бога и всего святого, выразившиеся ярче всего в уничтожении иконопочитания и жестоком преследовании стойких его защитников и исповедников. Оттого и состав повествования у Феофана и в его источнике далеко не был тождественным; оттого Феофан и сам откровенно отказывается помещать в своем труде все, что считал важным записать относительно монахомахины правительства Константина V — его источник, иконоборческий хронист.²

¹ Theoph. 445,28—446,15. „Τῷ δ' αὐτῷ ἔπει ὁ Λαχανοδρακῶν ἀποστείλας Λέοντα τὸν νοτάριον αὐτοῦ (τὸν ἐπιλεγόμενον κουλούρη) καὶ Λέοντα ἀπὸ ἀββάδων (τὸν Κουζαδάκτυλον) ἔπραξε πάντα τὰ μοναστήρια ἀνδρεῖά τε καὶ γυναικεῖα καὶ πάντα τὰ ἱερά σκεύη καὶ βιβλία καὶ κτήνη, καὶ ὅσα ἦν εἰς ὑπόστασιν αὐτῶν, καὶ τὰς τοῦτων τιμὰς εἰσεκόμισε τῷ βασιλεῖ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν μοναχῶν διὰ μαστίγων ἀνήλωσεν, ἔστι δ' οὓς διὰ ἕψους ἀναριθμήτους δ' ἐτύφλωσεν. καὶ τῶν μὲν τὰς ὑπῆνας κηραλαίῳ ἀλειφῶν ὑρήπτε πυρ καὶ οὕτω τὰ τε πρόσωπα αὐτῶν καὶ τὰς κεφαλὰς κατέκατεν τοὺς δὲ μετὰ πολλὰς βασάνους ταῖς ἑσθρίαις παρέπεμπεν. καὶ τέλος οὐκ εἶσεν εἰς ὄλον τὸ ὑπ' αὐτὸν θέμα ἓνα ἄνθρωπον μοναδικὸν περιβεβλημένον σχῆμα τούτων οὖν μιμησάμενοι καὶ οἱ λοιποὶ τὰ ὅμοια διεπράττοντο“. Нетрудно видеть, что здесь Феофан повторяет опять те же жестокости и мучительства над монахами, которые он уже перечислял выше — 442,22—27, приписывая их тем же сподвижникам Константина V, но это и суть τὰ ἀνοσιουργήματα „стратигической троицы“, которые целиком во всех частностях Феофан считал невозможным описать, но о которых он с ужасом читал в „иконоборческой“ хронике, как об энергичном проведении императорской „реформации“ („ἔργα πρὸς θεραπείαν τοῦ κρατουτος γινόμενα“) (Theoph. 440,18—441,2).

² Theoph. 440,28. „Καὶ τίς ἱκανὸς διηγεῖσθαι τὰ τοιούτων ἀνοσιουργήματα, ἃ μερικῶς ἐν ταῖς ἰδίαις τόποις συγγράφομεν; πάντα γὰρ κατὰ μέρος συγγράφειν τὰ τούτων ἔργα πρὸς θεραπείαν τοῦ κρατουτος γινόμενα οὐδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον

Параллельно напрашивается и другое, как мне кажется, довольно ценное наблюдение. Выше было указано, что все яркие эпизоды буйной монахомахи, которые по особым условиям просочились в хронографию Феофана из источника, общего у него с патр. Никифором, последним как будто решительно опускаются. Теперь мы можем уверенно внести поправку в это призрачное утверждение. Опять-таки, собирая разбросанные у Феофана указания на преследование монашества в одну цельную картину, мы в общем получим нечто весьма близкое по составу к тому выразительному и содержательному очерку „монахомахи“, который патр. Никифор предпосылает сообщению о смерти св. Стефана Нового как наиболее ярком проявлении этого гонения. Никифор более прямолинеен и не останавливается перед признанием преследования монашеского строя („τῶν μοναζόντων τὸ ἱερὸν ἐδίωχτο τάγμα“) в качестве значительнейшей и „самодовлеющей линии императорской реформации, как он должен был это воспринять из источника. Несмотря на крайнюю сжатость изложения, он все-таки не считал возможным опустить этот момент страшного царствования Константина V, но, что замечательно, о специфическом иконоборчестве, к которому с такой словоохотливостью то и дело возвращается Феофан, он упоминает в *Ἱστορία συντομος* только мимоходом. Очерк Никифора, правда, чрезвычайно кратко, но зато исчерпывающе суммирует разрозненные, а потому и ослабленные показания, находимые нами у Феофана. Никифор захватывает даже больше фактического материала в свой обзор, который и представляет собой вдумчиво и отчетливо составленный конспект того большого и детального описания монахоборческих ἀνοσιουργήματα императорских τῆς κακίας ἐργατῶν, которых не вместили бы „все пишемые книги вселенной“, по жеманному выражению Феофана.

Поразительно совпадающие: Theoph. 440,¹⁴⁻²¹ + 443,¹⁸⁻²² = Nicerph. 75,²³ — 76,¹⁴ — оба историка принимают из своего общего источника по одинаковым и понятным побуждениям. И Феофан и патр. Никифор с большой готовностью обозначили новое несчастье, постигшее Константинополь при Константине V, потому что это было лишнее доказательство „несчастливости“ этого царствования, в опровержение иконоборческого прославления его.¹ Если в первой половине сообщения

χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία εὐαγγελικῶς εἰπεῖν οἰκειότερον“. Феофан знал о них все или много, но обещает рассказать только часть, ибо всего прямо „не вместили всем пишемым в мире книгам“ — излюбленная в агиографии риторическая фигура.

¹ Theoph. Καὶ ἐγένετο ἄβροχία, ὥστε μὴ δὲ δρόσον πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐξέλιπε παντελῶς τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς πόλεως. καὶ ἤρησαν τὰ τε δοχεῖα καὶ τὰ λουτρά, οὐ μὴν δὲ καὶ τα πηγαῖα νάματα τὰ ἀενάως ῥέοντα πρότερον τοῦτο ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ἤρξατο ἀνακαινίζειν τὸν Οὐαλεντινιάνου ἀγωγὸν μέχρι Ἡρακλείου χρηματίσαντα καὶ ὑπὸ τῶν Ἀβάρων καταστραφέντα, ἐπιλεξάμενος δὲ ἐκ διαφόρων τόπων τεχνίτας ἤγαγεν ἀπὸ μὲν Ἀσίας καὶ ἀπὸ τοῦ Πόντου οἰκοδόμους, α καὶ χρίστας σ', ἀπὸ δὲ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν νησιῶν

Nicerph. Πέμπτη δὲ ἰνδικτιῶν ἄβροχίας ἐπικρατοῦσης αὐχμῶδες καὶ ἔπην γέγονε τὸ κατὰστημα, ὥς καὶ αὐτὴν ἐπιλελοιπέναι τὴν ἀέριον δρόσον, εἶτι καὶ τὰ πηγαῖα ὑποστέλλεσθαι νάματα, ἀργὰ τε μένειν ἐντεῦθεν καὶ τὰ λουτρά τῶν ἐκδοχείων κενῶν ὑπαρξάντων ἐκ τούτου βουλευέται Κωνσταντῖνος τὸν τοῦ ὕδατος ὀλκὸν ἀνακαινίζειν ὃν Βαλεντινιανὸς ὁ βασιλεὺς κατεσκεύασεν, ὑπὸ δὲ Ἀβάρων ἐπὶ τὸν Ἡρακλείου χρόνων τοῦ βασιλέως καταστραφέντα καὶ πλείστους ἄνδρας τεχνίτας ε

оба они допустили довольно корректную передачу иконоборческого рассказа о том, как Константин V реставрировал водопровод Валентиниана и сделал столицу „с водой“, что, наверно, и ставило ему в заслугу в старой хронике, то другая решительная мера императора, которая не без восхваления излагалась в источнике и которая устанавливала в Константинополе изобилие и дешевизну, изображается Феофаном с молчаливой поправкой („καὶ τοὺς γεωργοὺς ἐγύμνωσεν“), а патр. Никифором в открытой полемике с хроникой враждебного направления („ὅπερ τοῖς μὲν ἀνοήτοις εὐφορία τῆς γῆς καὶ πρ. εὐθηνία ἐνομιζέτο“ = представление источника; „τοῖς δὲ εὐ φρονούσι“, т. е. самому Никифору — „τυραννίδος ἔργον καὶ ἀπανθρωπίας νόσος ἐκρίνετο“).

И наконец, последний пассаж, выписываемый Феофаном, в согласии с Никифором, из основного источника, помещается под тем же годом а. м. 6259.¹

Легко заметить, сравнивая передачи обоих историков, что патр. Никифор и здесь серьезнее и исправнее заимствует и не позволяет себе произвольно и тенденциозно разрушать контекст, как это делает Феофан, пропуская начало сообщения о том, что патр. Никита произвел реставрацию обветшавших от времени зданий вселенской церкви, и выхватывая лишь понравившийся ему конец об уничтожении тем же патриархом старых икон и ликов в некоторых частях патриаршего дворца. Соблазнитель же он для Феофана был потому, что это одно

ὄστρακαρίου φ', ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς Θρακῆς ὀπέρας, ε καὶ κεραμοποιούς σ' καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἀρχοντας ἐργωδιώκτας καὶ ἓνα τῶν πατρικίων. Καὶ οὕτω τελεσθέντος τοῦ ἔργου εἰσῆλθε τὸ ὕδωρ ἐν τῇ πόλει.

Ἐποίησε δὲ εὐθηνῆσαι τὰ εἶδη ἐν τῇ πόλει. νέος γὰρ Μίδας γενόμενος τὸν χρυσὸν ἀπεθήσαυρισε καὶ τοὺς γεωργοὺς ἐγύμνωσεν, καὶ διὰ τὴν τῶν φόρων ἀπαίτησιν ἠναγκάζοντο οἱ ἀνθρωποι τὰς τοῦ θεοῦ χορηγίας εὐώνως πιπράσκειν.

οἰκοδομήν ἐμπείρους ἐκ τῆς ὑπὸ Ῥωμαίων ἀρχῆς συναθροίσας, πολλά τε δαπανήματα αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων χρημάτων προσκαλώσας, οὕτω τὸ τοιοῦτον ἔργον ἐτέλεσε.

φιλόχρυσος δὲ ὢν ὁμισόχριστος νέος Μίδας Κωνσταντῖνος ἀναδείκνυται καὶ τὸν χρυσὸν ἀπαντα ἀποθήσαυρίζει ἐνοῖς συνέβαινε ἐν ταῖς τῶν φόρων πράξεσι τῶν φορολογουμένων βιαζομένων εὐώνως τὰ τῆς γῆς καρπῆματα καὶ γεννήματα διαπιπράσκεισθαι, ὡς τῷ νομίσματι ἐξήκοντα μοδίους σίτου διαγοράζεσθαι, κριθῆς δὲ ἑβδομήκοντα, καὶ πλεῖστα ἄγαν βραχεῖα πάνυ ἀπεμπολεῖσθαι ποσότητι. ὅπερ τοῖς μὲν ἀνοήτοις εὐφορία τε γῆς καὶ πραγμάτων εὐθηνία ἐνομιζέτο, τοῖς δὲ εὐ φρονούσι τυραννίδος καὶ φιλοχρηματίας ἔργον καὶ ἀπανθρωπίας νόσος ἐκρίνετο.

¹ Theoph. 443,22. Τῷ δ' αὐτῷ ἔτει Νικήτας, ὁ ψευδώνυμος πατριάρχης, τὰς ἐν τῷ πατριαρχεῖῳ εἰκόνας τοῦ μικροῦ σεκρέτου διὰ μουσείου οὔσας ἔξεσεν, καὶ τοῦ μεγάλου σεκρέτου τῆς τροπικῆς ἐξ ὑλογραφίας οὔσας κατήνεγκεν, καὶ τῶν λοιπῶν εἰκόνων τὰ πρόσωπα ἔχρισεν καὶ ἐν τῷ Ἀβραμαίῳ δὲ ὁμοίως πεποίηκεν.

Niceph. 76,15. . . ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν Νικήτας ὁ τῆς πόλεως πρόεδρος τινὰ μὲν ἐκ χρόνου διαφθαρέντα τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἀνακαινίζει κτίσματα, τὰς δὲ ἐν τοῖς ἐκεῖσε ἰδρυμένους τῶν προόδων οἰκοῖς, ἃς Ῥωμαῖοι σεκρέτα καλοῦσι, τὸ τε μικρὸν δόμημα καὶ τὸ μέγα, τοῦ Σωτῆρος καὶ τῶν ἁγίων οὔσας διὰ ψηφίδων χρυσῶν καὶ κηροχυτοῦ ὕλης εἰκονογραφίας ἀπέξευσε.

из очень немногих конкретных указаний на уничтожение икон, т. е. на проявление настоящего, специфического иконоборчества. У самого Феофана это всего — второе и последнее¹ такое показание. Он должен был жадно ухватиться за это „признание“ самого иконоборческого хрониста, упуская, однако, из виду, что тем самым обесценивает и колеблет все свои предшествующие утверждения о крутом и беспощадном истреблении икон по повелениям еще императора Льва III. Ведь само собой разумеется, что если то, что называют иконоборчеством, было в своей главной сущности решительной борьбой с почитанием образов или даже с его эксцессами, то никак не могло случиться, чтобы иконы так долго (до 27-го года царствования Константина V) уцелели в патриаршем доме, несмотря на то, что в нем уже давно „на Моисеевом седалище воссели“ „лжеименные“, по выражению Феофана, патриархи: иуда — Анастасий и всенародно отрясший прах иконопочитания Константин. Уничтожение иконопочитания, сближенного с идолопоклонством, входило в реформационную программу правительственно-епископского блока, но не оно было боевым его пунктом. Оттого и осуществление его проводилось вяло и не радикально. В своем месте мы еще постараемся показать, как эта линия борьбы была выдвинута и разожжена другой борющейся стороной — монашеством, как вопрос об изображении Христа и святых и об отношении к ним, приподнятый до догматической важности, обострился и был даже подвергнут серьезному обсуждению на Соборе 754 г., но именно под влиянием выступлений таких оппонентов правительства, как Иоанн Дамаскин, патр. Герман и инспирированные ими (неизвестные нам) прочие богословы из монахов. Но при всей силе и ясности теоретической разработки „иконоборчества“, перед которой в значительной мере опустили руки даже отцы VII Вселенского собора, практическое осуществление его, повидимому, не входило в неотложные задачи правительства и если и проводилось, то спорадически, случайно и без особого ожесточения. Прежнее „поклонение“ иконам и „почитание“ их были отменены (официально — Собором 754 г.), население (по крайней мере столицы) весьма беспрекословно присягнуло на верность соборному и императорскому „догмату“², но самые иконы, хотя и признанные произведениями дьявольского искусства, продолжали в массе висеть на своих местах и украшать их как художественные вещи. И случаи действительного их удаления или закраски были своего рода выдающимся событием: их запоминали, их считал нужным занести в свою летопись иконоборческий хронист. Если бы было иначе, то какое основание было упоминать о тихом удалении икон патр. Никитой, опуская более яркие и более крупные эпизоды иконоборчества?

Мы перебрали повествование Феофана об иконоборческом движении при первых двух самых ярких иконоборцах-императорах, материал, который из доступного здесь сопоставления Хронографии с современной ей *Ἱστορία συντομῆς* может быть сведен на определенный, убедительно прощупывающийся источник. Но последний, как было уже замечено, являлся и единственным возможным для пользования в этом отделе Летописи. Повторяя то, что было мной

¹ Первое относится еще ко Льву III: знаменитое столкновение у Медных ворот

² Даже православные историки не пытаются указать ни одного намека на какой-либо протест.

уже признано, именно, что выделение материала, почерпнутого Феофаном из иконоборческой хроники, с помощью *Ἱστορίᾳ συντομῶς* патр. Никифора, не может претендовать на безусловную и исчерпывающую точность и полноту, что оно и велось, так сказать, с известным приближением, мы все-таки в праве накопленную сумму отложить в качестве особого фонда повествования Феофана, который в смысле исторической надежности должен быть оценен соответствующим образом: здесь мы чувствуем почву под ногами, так как знаем, что это заимствование, пусть даже подвергшееся переработке, идет из определенного произведения с фактическим содержанием, из работы, составленной близко по времени к описываемым событиям, а потому и хорошо осведомленным автором. Если он был и пристрастен, если его задача была и панегиристическая (но это еще под вопросом), то его тенденциозность могла отразиться более на окраске лиц и фактов, на выборе последних, чем на содержании и смысле их. Тон и оценка могли быть фальшивы, но самые факты — ни в коем случае, поскольку читатели, сами хорошо знавшие и помнившие изображенные события, могли уличить историка во лжи. Каков этот материал, каково его фактическое содержание, на эти чрезвычайно важные вопросы я предпочитаю дать ответ после того, как будет дан отчет в той любопытной категории сообщений Феофана об иконоборчестве, которая ложится в качестве остатка после отсложения выписок из предшествующей хроники. К этому изучению и обращаюсь.

7

Приступая к анализу и оценке образовавшегося „остатка“ в пределах двух первых иконоборческих царствований у Феофана, я считаю необходимым прежде всего заметить, что установить или даже просто угадать незримые источники, из которых питался Феофан в данных частях своего рассказа, едва ли возможно при наличных наших ресурсах, т. е. раз приходится искать источники, до нас не дошедшие ни целиком, ни в отрывках, ни даже в простых упоминаниях о них. Я уже говорил и сейчас снова скажу, что такая работа, исходящая даже из кропотливейшего изучения стиля и языка повествования Феофана, тончайших переливов и легчайших колебаний точек зрения и взглядов, из обнаружения эпизодов и пассажей, разнствующих и с основным тоном и между собой, все-таки должна быть признана в достаточной мере бесплодной, так как результаты ее никогда не окажутся бесспорными. А затем, если после напряжения и затраты невероятных усилий и удалось бы вместо известного все-таки нам Феофана поставить неизвестные X, Y, Z... даже всего его разложить на ряд таких безликих незнакомец, едва ли от этого получился бы крупный выигрыш в смысле определения ценности и достоверности сообщений Хронографии как исторического источника. Единственно, к чему здесь желательно было бы стремиться, это к частичному оправданию Феофана, т. е. доказательству того, что он пишет не „от себя“, что даже в явно несообразных сообщениях вина должна быть сложена с него на его источники. Но в таком случае, т. е. если критика заменяется „оправданием“ и „спасением“, последние могут напрягаться до бесконечности, и остаток „повествования от себя“ никогда не будет убедительной гранью: он все будет казаться только еще не разгаданным и не разведанным. В то же время, оправдав Феофана посредством переложения

ния вины на его укрывшиеся источники, мы все-таки не ликвидируем самой вины: почему Феофан должен заслуживать доверия больше, чем его первоисточники и наоборот — эти вопросы просто неразрешимы.

Таковы условия, которые заставляют с самого начала снять с очереди обычные задания и привычные приемы исторической критики в применении к занимающим нас частям повествования Феофана и поставить на их место иные. Не разложение на первоисточники с целью установления степени обоснованности и достоверности его, как историка должно быть написано на знамени изучающего, а исследование и оценка фактической содержательности его повествования, степени его реальной полновесности.

Снова мы — в пределах царствования Льва III и здесь в качестве таких „самостоятельных“ сообщений Феофана должны выделить следующие места:¹ Theoph. 401, ²⁹—402, ¹⁸ (о происхождении иконоборчества); 404, ³—⁹ (о начале иконоборчества); 405, ²—¹⁴ (о первых иконоборческих выступлениях Льва III); 406, ²⁵—³¹ (начало столкновения императора с патр. Германом); 407, ¹⁵—408, ³¹ (исход этого столкновения); 409, ¹⁴—¹⁹ (о протесте папы Григория II, отложении Италии и лютом гонении против икон).² Здесь, как видим, и сосредоточен основной материал повествования о специфическом иконоборчестве, а потому необходимо оказывается возможно тщательнее разобраться в каждом из этих главенствующих показаний Феофана.

Первое из них, которое надо считать одним из наиболее ответственных и капитальных в рассказе его об иконоборческом движении, претендует на общее разрешение сложного и темного вопроса о происхождении „нечестия и гонения на святые иконы“. Феофан примыкает здесь к тому построению начала иконоборчества в империи, которое, повидимому, пришлось весьма по вкусу оппонентам этого движения, так как, будучи уже публично высказано и раньше, оно и в последующей „православной“ литературе снова не один раз повторяется. В основе его лежит утверждение, что иконоборчество складывается под влиянием мусульманства с участием иудейства — и это утверждение, в котором было более оскорбления и раздражения, чем проницательности, претворено было в известное сцепление фактов, т. е. выставлено было в форме легенды. В ряде ее последовательных выражений можно наблюдать весьма любопытное движение, своего рода эволюцию этой легенды — и версия, которую мы застаем у Феофана, не является уже изначальной. Это — уже третья „перемена“, поскольку мы можем судить на основании дошедшего до нас литературного материала. Первой, исходной (насколько опять-таки нам известно) формулировкой следует считать ту, которую мы читаем в деяниях

¹ Если не считать 400, ²—¹⁷, прославленного анекдота о крещении Константина V.

² Повествование о папе Стефане и франках, несмотря на то, что оно поддерживается Анастасием, я все-таки склонен считать вставным и не принадлежащим летописцу Феофану. Интерполированность изобличается, помимо случайности и неожиданности этого сообщения, еще и нетвердостью его местоположения в хронографии: в латинском переводе оно стоит под а. н. 6234, в греческом тексте — а. н. 6216. Ср. De Vogt. Theoph. Chron. I, 402, прим.; сообщение считается сколием к известию: „Στέφανος δὲ ὁ πάππας Ῥώμης, προσέφυγεν εἰς τοὺς Φράγγους“ (403, 29).

VII Вселенского собора в качестве „собственной диегесы достопочтеннейшего иерусалимского монаха Иоанна“, бывшего „представителем“ восточных архиереев.¹

Каково происхождение диегесы, претендующей „показать со всей истиной, как, когда и откуда получила свое начало злейшая и богоненавистная ересь (sic!) иконоборцев“?² Едва ли будет ошибкой признать в ней работу „по специальному заказу“ — для собора. И целью ее было отмстить иконоборчеству сближением его с мусульманством и иудейством за его обвинение церкви в идолопоклонстве и суеверии, о чем можно догадываться из контекста этой диегесы. Председательствовавший на соборе патриарх Тарасий мотивирует переход к докладу монаха Иоанна весьма недвусмысленно: „Поелику, — говорит он, — в предшествующем выяснилось, что церковь подвергалась обвинениям за честные иконы со стороны евреев, язычников, самаритов, манихеев. . . , то подобает выслушать и возлюбленного брата нашего. . . Он имеет разъяснение, откуда пошло низвержение икон“. Доклад монаха Иоанна не был неожиданным для патриарха, а вероятно, и для многих участников Собора 787 г., откровением: патриарх заранее знал о нем и выбирал для него только удобный и подходящий момент. И никакого особого эффекта диегеса не произвела: ее выслушали совершенно спокойно и последовали далее. Поэтому более всего она и похожа на подготовленную, с ведома, вероятно, президиума собора, Иоанном ту формулу происхождения иконоборчества, которую собор и предполагал санкционировать и выдвинуть в качестве „официальной“. Эта формула для убедительности была конкретизирована и историзирована, причем самые исторические факты, на которые она поставлена, не были придуманы *ad hoc*: они имели место в действительности. Эти факты могли быть хорошо известны иерусалимскому монаху, но он слишком прямолинейно и беззастенчиво их и выразил и связал, чтобы эта комбинация могла быть принята за действительность. Указания на халифа Езида (Язйда II), на его указы против христианского культа, даже на некоторое участие в антихристианской пропаганде евреев — поддерживаются свидетельствами арабских историков, так что сомневаться в реальности личности Язйда и его „иконоборчества“ не приходится.³

Пользуясь синхронизмом попыток халифа Язйда II и начала иконоборчества при императоре Льве III, православные писатели радостно встретили эти „арабские события“, чтобы притянуть их и слить все

¹ Кроме Mansi. Coll. Conc. XIII — у Migne. Patr. Gr., т. 109, стр. 517—519.

² „ἀποδείξει μετὰ πάσης ἀληθείας, ὅπως καὶ πότε, καὶ ὅθεν ἔτετε τὴν ἀρχὴν ἢ χαίσιπυ καὶ θροστυγῆς αὐτῆς. . . εἰκονομάχων ἀίρεσις. . .“.

³ В переводах арабских историков, сделанных и напечатанных Н. Медниковым в выпуске 50 Православного палестинского сборника (1897), находим у Ибн-Тагриберди (стр. 652), ал-Макрийяна (стр. 551) и ал-Мекйна (стр. 1763), довольно определенные указания на притеснения христиан (глазным образом монашества и духовенства) в Египте, при халифе Язйде II (101—105 гг. = 720—724 гг.), преемнике Омара II. Эти притеснения представлены там как продолжение таковых же при Сулеймане и вырисовываются не столько как проявление религиозной нетерпимости мусульман, которой вообще последние проявляли мало, а как последствия отказа христиан, главным образом монахов, платить вновь наложенные и увеличенные подати, а также как стремления арабского правительства воспользоваться очевидным процветанием христиан и перетянуть себе хотя бы часть огромных средств и земель церквей и монастырей (см. также Н. Медников. Палестина от завоевания ее арабами, в Правосл. палест. сборнике, т. XVII, вып. 2 (I), стр. 686, 687, 719 и др.). Историки говорят о повелении Язйда II уничтожать церкви, кресты и иконы и говорят так, что эти приказы подлежат считать приведенными в исполнение. Последнее важно заметить для оценки сообщений Феофана о том же событии.

в своего рода единое „безумие и нечестие“ и этой связью с арабами опозорить и свое „иконоборчество“. При этом диегеса монаха Иоанна наивно (с популяризаторным расчетом) драматизирует и индивидуализирует события. Враждебное христианство еврейство персонафицируется в лице некоего волшебника и дьявольского вождя беззаконных иудеев в Тивериаде Серантапиха.¹ Этот таинственный еврей с явно вымышленным греческим именем и приводится весьма примитивно в общение с халифом, причем сообщается в точности разговор, происшедший между ними. Еврей обещает Язиду долголетие и властвование в течение 30 лет,² если тот без всякого промедления повелит написать и разослать по всему государству окружающую грамоту (ἐγκύβλιον τὴν ἐπιστολὴν) о том, чтобы уничтожили всякое живописное изображение, где бы оно ни было сделано и т. д.³ „Тирани“ выразил свое согласие и, разослав по всей подвластной ему земле людей, уничтожил („καθεῖλεν ἀπὸ πάσης ἐπαρχίας τῆς ὑπὸ αὐτὸν τὰς ἀγίας εἰκόνας καὶ λοιπὰ ὁμοιώματα“) святые иконы и прочие изображения. Далее совершенно бездоказательно и явно надуманно устанавливается связь: „Узнав об этом лже-епископ Наколии со своими присными принял за подражать беззаконным иудеям и безбожным арабам и опозорил церкви божи“. ⁴ Но Язид II прожил после этого не более двух с половиной лет, а после его смерти иконы были восстановлены. Сын же его Улид (Валид) повелел предать жестокой казни еврея, понесшего, таким образом, заслуженное возмездие за свое лжепророчество.

Патриарх Никифор,⁵ называя иконоборчество горчайшей из ересей и соединением всех прежних, подчеркивает в нем „Ιουδαϊκὸν καὶ θεοστυγὲς τὸ φρόνημα“ и в подкрепление этого своего воззрения ссылается на построение начала этой ереси, какое он находит у старых людей („τῶν πρεσβυτέρων τινές“). Этот рассказ представляет собой не что иное, как риторически распространенную и литературно прибранную диегеса монаха Иоанна (старые люди!). В основных положениях Никифор остается ей безусловно верен. Одинаково и там и здесь героем является небезызвестный в Тивериаде еврей, маг и дьявольский волшебник Тессаракоптапихис, который втирается в доверие легкомысленного халифа Язида, и за обещание долгой жизни и тридцатилетнего благополучного властвования добивается от него повеления как можно скорее уничтожить все священные изображения и иконы во всем царстве. Приказ приводится в исполнение евреями и сарацинами — и затем одинаково необоснованно указывается на восприятие этой язвы иерархами Римской империи с епископом Наколийским во главе. Конец

¹ „Ἦν δὲ τις ἐν Τιβερίადι προηγέτης τῶν παρανόμων Ἑβραίων, φαρμακόμαντις, δαιμόνων ψυχοβλαβῶν ὄργανον ἐπονομαζόμενος Σεραντάπηχος“.

² „δι' οὗ σοι προστεθήσεται ζωῆς μήκος καὶ διαμείνης χρόνους τριάκοντα ἐν τῇ δὲ σου ἀρχῇ“.

³ „ὥστε πᾶσαν εἰκονικὴν διαχωγράφησιν, εἴτε ἐν σάνισιν εἴτε διὰ μουσείων ἐν τοίχοις εἴτε ἐν σκεύεσιν ἱεροῖς καὶ ἐνδοταῖς δυσιστηρίων καὶ ὅσα τοιαῦτα εὐρίσκαται, ἐν πάσαις ταῖς τῶν χριστιανῶν ἐκκλησίαις ἀφανίσαι καὶ τελῶς καταλῦσαι. . .“

⁴ „Τούτων ἀκηκῶς ὁ ψευδεπίσκοπος Νακολίας καὶ οἱ κατ' αὐτὸν ἐμιμήσαντο τοὺς παρανόμους . . . καὶ ἐνύβρισαν τὰς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ“.

⁵ В своем комментарии к De haeresibus Иоанна Дамаскина под заголовком: „Сто вторая ересь“ — „Αἴρεσις ρβ! χριστιανοκατήγοροι ἤγουν εἰκονοχλασταί“, который застал в Cod. Paris. Леквиний, — см. в прил. к Antirr. III у Migne. Patr. Gr. 100, 528—529.

рассказа совпадает уже почти буквально.¹ И в то же время в заключении мы наблюдаем здесь некую, может быть, идущую от самого патр. Никифора, может быть, воспринятую им со стороны довольно существенную, хотя и проходящую без фактической опоры прибавку: „ἀπαξ δὲ τῆς πικρίας ἐκεῖνης ἡ ῥίζα τῆ Ῥωμαϊκῆ ἐμφυεῖσα πολιτεία, φθάνει καὶ μέχρι τοῦ τότε κρατοῦντος. Λέων δέ... ἐπιμανεῖς κατὰ τῆς εὐσεβείας, τῶν δέων ναῶν τὴν ἱερογραφίαν ἐξορῶντων ἐσπουδαζεν“. Таким образом в этой версии притягивается уже к объяснению и выведению из иудейско-арабских источников и правительственное, императорское иконоборчество. У монаха Иоанна все дело еще кончалось на епископском движении против икон; в „сараценомудрии“ изобличался только епископ Наколи и его кружок. Здесь последний рассматривается уже в качестве передаточной ступени, и выступление императора Льва III пристраивается как результат иудейско-мусульманского влияния. У Феофана мы застаем уже решительно варьированную в этом направлении редакцию легенды. Иудей появляется не из Тивериады, а из Лаодикеи; имя его пропало, но первая его часть (τεσσαρράκοντα) выступает в перемене числа лет, которые он обещает Язиду за уничтожение икон: не тридцать, а сорок лет благополучного царствования. Язид, убежденный обещанием, только издает всеобщий указ против святых икон,² но милостью господ нашего Иисуса Христа и молитвами пречистой его матери и всех святых в том же году (а не через два с половиной года) умер Язид, так что не только не было проведено истребление икон, но даже многие так и не узнали о сатанинском его распоряжении. Это горькое зловерие перенимает не Константин Наколийский, а непосредственно император Лев III, который, таким образом, оказался одним из немногих узнавших об указе халифа. И только в качестве одного из единомышленников он нашел себе Наколийского епископа, наряду с главнейшим соратником в этом дурном деле — неким Висиром, отступником от христианской веры и напоенным арабским учением. Весьма затруднительно сказать, чем обусловлены были такие радикальные изменения в легенде. Но, может быть, это и не так уже важно, так как ясно, что перемены вносились не из проверки фактов, а наоборот: в версии Феофана неблагоприятной оказывается не только связь арабского и византийского „иконаборчества“, но и сама первая фактическая часть, так как она перестает в таком

¹ Niceph. 539 C. Οἶον δὲ τέλος ὁ τῆς κακίας ταύτης εἰσηγητῆς, ὁ παμμίαιρος οὗτος Ἑβραῖος ἐδέξατο, παραδραμεῖν οὐ δίκαιον. ὁ γὰρ Ἰεζίδος ἐκεῖνος οὐ πλείωνας ἢ, δύο ἐνιαυτούς πρὸς μῆσιν ἕξ ἐπιβιταίς, του ζῆν κακῶς ἀπορῆγγυται. ὁ δὲ τούτου υἱός, Οὐλιδος... οἶα τὸν τέκοντα ἐξαπατήσαντα πικροτάτῳ καὶ ἐξαισιῶ θανάτῳ ἀναιρεθῆναι τὸν γόητα ἐπέτρεψεν, ἄξια τῆς κακίας τ' ἀπίχειρα χομισάμενον.

² Theoph. 402,з. „Τούτῳ πεισθεῖς ὁ ἀνόητος Ἰκιδ δόγμα καθολικὸν ἐψηφίσατο κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ἀλλὰ χάριτι... τῷ αὐτῷ ἔτει τέθνηκεν Ἰκιδ, οὐδὲ ἀκουσθῆναι, φάσαντος τοῖς πολλοῖς του σατανικοῦ αὐτοῦ δόγματος“.

Ioh. 520. Ἄξιον δὲ κρίνω... καὶ οἶον ἐδέξατο τέλος ὁ δέιλαιος ἐκεῖνος καὶ φαρμακός Ἑβραῖος. Ὡς γάρ... Ἐζίδος οὐ πλείω τῶν δύο ἡμισυ χρόνων βιώσας ἀπέθανε, ἀπῆλθεν εἰς τὸ αἰώνιον πυρ... ὁ δὲ τούτου υἱός, Οὐλιδος τοῦνομα, ἀθανακτῆρας ἄς φονέα του... πατρός τὸν φάρμακον αἰσχίστῳ θανάτῳ ἀναιρεθῆναι ἐκέλευσεν, ἄξια τὰ ἐπίχειρα τῆς ψευδομαντείας αὐτοῦ χομισάμενον.

виде поддерживаться данными арабских источников. Но для того чтобы окончательно взвесить и оценить, с чем мы в смысле достоверности имеем дело в этом рассказе, любопытно проследить, как причудливо искажается вся физиономия легенды в послефеофановской переработке, которую мы встречаем у Георгия Монаха,¹ в Послании к императору Феофилу и, наконец, у Кедрина, причем последний весьма нелепо пристегивает новую версию к выписке из Феофана. Здесь в полном пренебрежении к какой бы то ни было хронологии уже целых два еврея обманывают Язйда, умирающего менее чем через год после своего совращения, и затем, убегая от гнева следующего халифа, попадают в пределы Исаверии и здесь чудовищным образом встречают юношу, будущего императора Льва III, с которым и заключают самостоятельный договор. Правда, происхождения евреев у Язйда отнесены в этой версии ко времени царствования Феодосия Абрамитипа, но это не только не спасает дела, а еще более запутывает его. Смерть Язйда, царствование Феодосия, отрочество Льва III — все это никак не втискивается в углый мешок легенды, которая, по мере своего развития, делается все нелепее и неприемлемее. Происхождение и назначение ее вполне понятны, но следует признать, что она все-таки очень плохо придумана, и включением ее Феофан только компрометирует свое повествование.

В самом деле, уже в первой версии „объяснения“, принятой на Соборе 787 г., не может не шокировать произвольность связывания двух соблазнительно одновременных выступлений: халифа Язйда II и малоазиатского епископата во главе с Константином Наколийским. Приходится считаться с довольно сочувственным отношением к этой конструкции в новой исторической литературе.² Указывают на то, что „местная почва Фригии (где находилась Наколия) благоприятствовала тому, что из этой провинции вышел первый иконоборческий богослов“. Фригия, говорят, страна, взлелеявшая монтанизм и новацианство, а в средние века — один из главных притоков павликианской общины, враждебной иконам. Религиозно-обрядовая жизнь сектантов, по своему простому строю напоминавшая времена первых веков христианства, представляла много благоприятного для идей иконоборчества. В таких и им подобных соображениях весьма мало убедительности. Что сектанство стремилось к опрощению и очищению „христианства“, что те же тенденции можно установить и в исламе, этого никто отрицать не станет, но почему нельзя допустить в недрах самого „православия“ самостоятельного движения в ту же сторону; почему непременно нужно подставлять здесь мало уже убеждающую формулу „влияния“, зачем в научно-исторической работе надо еще пользоваться истрепанным и дешевым приемом миссионеров и полемистов — уличать противников в старых, уже заклеянных ересях и нечестиях? Тем более что самый осведомленный и надежный свидетель этих первых шагов „епископского иконоборчества“ — патр. Герман — в своем письме к самому *Ἐξαρχός τε καὶ ἡγούμενος* движения Константину Наколийскому совершенно чужд мысли о сектантском, иудейском или арабском влиянии на „изначальника“ иконоборчества: он считает источником заблуждения неправильное, но самостоятельное толкование некоторых мест св. Писания. То же высказывает он и в Послании к митрополиту

¹ Georgius Mon., ed. de Boor II 735, 14. Epistola ad Theopilum imp. — у Migne. Patr. Gr., 95, 356 C. Georgii Cedreni. Compend. I 788 (ed. Bonnæ).

² См., например, Schwarzklose. Der Bilderstreit, 44—45; И. Андреев. Герман и Тарасий, 19 и сл.; Brehier. La querelle des images. Par., 1904, 8 ff.

Синадскому Иоанну.¹ В третьем же своем письме к еп. Фоме Клавдиупольскому,² он, упоминая об оскорблениях церкви христовой со стороны иудеев и сараинов, однако, даже и не пытается связать их с нападениями иконоборцев. Еще важнее, пожалуй, то, что и в трактате *De haeresibus et Synodis* тот же патр. Герман считает зарождение еретических идей еп. Константина совершенно самостоятельным („καὶ τούτων ἕξαρχος τε καὶ ἡγῆτωρ ὁ τῆς... πόλεως πρόεδρος“), вытекавшим из чтения книг св. Писания.³ Если еп. Константин и опирается в своем выступлении против иконопочитания на те же почти места св. Писания, которые выдвигались раньше и иудеями, то это совпадение представляется вполне естественным и неизбежным, но, конечно, никоим образом не может доказывать заимствования этих ссылок Константином у воинствующего иудейства. Наконец, даже намек на выведение первых шагов иконоборчества из восточного (еврейского или арабского) воздействия не высказывает такой мастер богословского спора, как Иоанн Дамаскин, а между тем он в этом вопросе, казалось бы, был нарочито компетентен. Все это заставляет склоняться к мысли, что эта „теория сиро-сараинских корней“ иконоборчества создалась довольно поздно, приблизительно, к 80-м годам VIII в.

Несравненно менее приемлемой и обоснованной в фактическом отношении представляется „теория“ происхождения иконоборчества в формулировке Феофана. Сводить начало и сущность движения, проведенного правительствами императоров Льва III, Константина V и их продолжателей с такой упорной энергией и сознательной увлеченностью, движения, „принесшего великие беды всей империи“, — к „переимке“ чужого мусульманского зловерия („μεταλάβων δὲ ταύτης τῆς... κακοδοξίας“) возможно разве только иронически. Я и думаю, что Феофан в данном месте именно только иронизирует: с такой целью он и воспользовался уже широко распространенной легендой. К его времени знаменитость „изначальника“, еп. Константина в значительной степени выветрилась и потускнела. Феофан не считает нужным даже называть его по имени. В главные герои иконоборчества уже определенно выдвинуты были сами императоры: Лев III и Константин V. И хронист без труда мог сделать свое соображение, что если Вселенский собор признал, что иконоборчество питалось из мусульманского беззакония, „подражало“ последнему, то в таком подражании справедливо изобразить и первого императора-иконоборца, который, очевидно, являлся *сарахлиносфорон*, так как думал и поступал так же, как и халиф Язид.⁴ А взамен отодвинутого назад ἕξαρχος καὶ ἡγῆτωρ нечестия епи-

¹ См. у Migne Patr. Gr. 98, 156 С.

² Ibid., 168 А, 168 С.

³ Migne. Patr. Gr. 98, 77 А. „Ἀνέβη γὰρ τις ἐπίσκοπος Ναχολείας οὕτω καλούμενης, πολίχνης τῆς Φρυγῶν ἐπαρχίας, ἀνὴρ οὐκ ἐλλόγιμος... ὃς ψιλῆ τῆ τοῦ γράμματος θεωρία ἐν τῇ τῶν θεοπεύστων Γραφῶν ἀναγνώσει προσκεχρηώς, κινουργεῖν παρὰ τὰ ἱεροπρεπῶς ἐκπερασμένα παρεδογματίτῃς, καὶ ταῖς πατριχαῖς κατεβάνιστασαι παρηδόσεσιν ἀνδραπλίξεται“.

⁴ Если принимать это утверждение Феофана за фактическое сообщение, то необходимо подкреплять и спасать его узорами хотя и вероятных, но все-таки произвольных предположений, что мы и застаем в новейших трудах по истории иконоборчества: Шварцлоз, Брейе, И. Андреева, И. Доброклонского (св. Феодор Студит). Приходится, подчеркивая сирийское и исаврийское происхождение Льва III, допускать, что он давно сблизился с Константином Наколийским, еще во время своего командования войсками в Малой Азии, и тогда утвердился в своем намерении начать борьбу с иконами. Приходится идти далее и, ссылаясь на результаты исследования.

скопа Наколии, Феофан в качестве ближайшего единомышленника по „арабомудрию“ и сподвижника (συνασπιστής) императора-сирийца называется тоже сирийца, некоего Висира (Βισήρ), который будто бы, будучи полонен арабами, отступился от Христа и пропитался арабскими верованиями, а потом, освободившись из плена, перешел на римскую государственную службу¹ и здесь, возвеличенный Львом III за телесную силу и согласие с ним в зловерии, сделался его сподвижником в великом зле. Но помимо этого общего утверждения, Феофан в последующем повествовании об иконоборчестве при Льве III ровно ничего не сообщает о деятельности этого выдающегося иконоборца: очевидно, он и не знал ни одного его выступления такого рода. Нет сомнения, что это тот самый патрикий Висир, который в тревожные дни узурпационной попытки Артавазда остался верен Константину V, сыну того, при ком он достиг высокого сановного положения (патрикия). Будучи отправлен Константином как доверенное лицо с предложениями к Артавазду, он был убит последним. Об этом надежно, на основании выписываемого общего источника, сообщают и Феофан и патр. Никифор.² Можно быть почти уверенным в том, что, кроме гибели этого знатного приверженца Константина V со странным и соблазнительным именем,³ Феофан и не обладал о нем никакими сведениями. Превращение этого патрикия Висира в своего рода „везиря“ императора Льва III и сообщение ему „сарацинómудрия“, конечно, не более как догадка православного летописца, но догадка, которую он ничем подтвердить не мог.

сирийского и египетского христианского искусства, подчеркивать преобладание в нем символики и орнаментики и отвращение к иконографии, каковые тенденции были усилены торжеством ислама с его ригоризмом и пуризмом. Мусульманство, говорят, двинулось в наступление и в поклонении иконам находило один из самых уязвимых пунктов для нападения, поскольку в христианской среде этот обычай долгое время встречал сопротивление, а известная группа, как монофиситство и позднее монозитство, и навсегда осталась врагами иконопочитания. К этому натиску на христианство присоединяется и переходящее в агрессивность иудейство, а также сектантство. Традиционная политика репрессий и гонений по отношению к инаковерующим восточных областей в VIII в., при силе и влиятельности арабов, оказывалась совершенно непригодной: необходимо было привлекать, а не отталкивать. И правительство Льва III, из политических мотивов, склоняется к принуждению и коренного населения отказаться в пользу ненадежных и легко оттягивавшихся к исламу окраин от некоторых обычаев, в частности иконопочитания, неприемлемого для них. Такой религиозной реформой Лев III довершал и закреплял тот грандиозный внешний удар, который был нанесен им арабам и который Финлей оценивал „выше подвига Карла Мартелла“ и считал спасением Европы от величайшего переворота религиозного, экономического и этнологического. Такому разъярению начала и смысла иконоборчества нельзя отказать ни в широте взгляда, ни в находчивости, ни в схематической стройности, но оно сплошь построено на фактах, устанавливаемых гипотетически, и отличается явным гиперболизмом: одна из линий сложного движения, может быть, и не самая существенная — борьба из-за икон — выдвигается в качестве гениально задуманной и блестяще проведенной реформы императора Льва III, и сосуществование двух течений подменяется воздействием одного на другое.

¹ Theoph. 402,9, „Εὐρὼν δὲ ὁμόφρονα τῆς ἀπειθεύσιας ταύτης Βισήρ τινα τοῦνομα γεγόμενον μὲν ἀπὸ χριστιανῶν αἰχμάλωτον ἐν Συρίᾳ, ἀποστάτα δὲ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ ποιωνθέντα τοῖς Ἀράβων δόγμασιν, οὐ πρό πολλοῦ δὲ χρόνου ἀπελευθερωθέντα τῆς ἐκείνων δουλείας καὶ καταλάβοντα τὴν Ῥωμαίων πολιτείαν. δια ῥώμην δὲ σώματος καὶ ὁμόνοιαν τῆς κακοδοξίας ἐτιμήθη παρὰ τοῦ αὐτοῦ Λέοντος. ὅστις καὶ συνασπιστὴς τοῦ μεγάλου χαχοῦ τούτου γέγονε τῷ βασιλεῖ“.

² Theoph. 414,27; Niceph. 60,3.

³ Βισήρ — почти что „везир“ — ωαζήρ, что значит по-арабски: „берущий на себя тяготы“, „помощник“. Должность везира устанавливается в халифате как раз во второй половине VIII в. См. А. Крымский. История арабов, ч. II, стр. 148 и сл.

Любопытное „пустое место“ представляет собой следующее „независимое“ сообщение Феофана о начале иконоборчества.¹ Обыкновенно здесь усматривают указание на первый указ Льва III об уничтожении икон² и придают этому известию очень большое значение: „Эдикт 725—726 г. был началом не только великой 142-летней борьбы, но повлек за собой отпадение Рима и Равенны, а далее сближение папства с франками и образование Римской империи Каролингов“.³

Феофан должен был быть в достаточной мере осведомлен относительно этих крупных последствий выступления Льва III и не мог не отметить в своем повествовании этого выдающегося акта. Надо, однако, сознаться, что далеко не все обстоит благополучно в таком толковании. Почему Феофан все-таки так неопределенно и даже небрежно формулирует это сообщение; почему он не счел нужным не только сообщить, хотя бы вкратце, содержания знаменитого указа, но даже не упомянул прямо и категорически о том, что это был указ? В самом деле, немислимо же выражение „ἤρξατο λόγον ποιῆσθαι“ переводить „начал издавать указ“: это неверно и лексически и синтаксически и просто не имеет смысла. Точный перевод гласит: „В этом году император начал открыто говорить, вести речь об уничтожении святых икон“, и, следовательно, только производно можно извлекать отсюда указание на эдикт. Но еще более повергает в смущение то обстоятельство, что об этом „указе“ мы нигде, кроме Феофана, не находим свидетельств, главное же, не находим их в *Ἱστορία συντομος* патр. Никифора — верный знак того, что указания на этот значительный эдикт не стояло в их общем источнике. Можно быть уверенным в том, что, с одной стороны, если бы в источнике было сообщение об указе (первом иконоборческом указе Льва III!), то патр. Никифор не мог бы обойти его молчанием, а с другой — если бы такое решающее повеление 725 г. об уничтожении икон было в действительности, указание на него непременно присутствовало бы в иконоборческой хронике, так как и эта сторона должна была придавать подобному акту крупное значение.⁴

Не касаясь запутанного вопроса о подозрительной хронологии у Феофана в данном отделе повествования, обратим внимание еще на один довод отстаивающих здесь указание на первый иконоборче-

¹ Theoph. 404, 1. a. m. 6217. „Ῥώμης ἐπίσκοπος Γρηγόριος ἔτη θ'!

Τούτω τῷ ἔτει ἤρξατο ὁ δυσσεβὴς βασιλεὺς Λέων τῆς κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καθαρῆσεως λόγον ποιῆσθαι. Καὶ μαθὼν τοῦτο Ἦρ. ὁ π. τοὺς φόρους τῆς Ἰταλίας καὶ Ῥώμης ἐκόλυσε γράψας πρὸς Λέοντα ἐπιστολὴν δογματικὴν μὴ δεῖν βασιλεὺς περὶ πίστεως λόγον ποιῆσθαι καὶ καινοτομεῖν τὰ ἀρχαῖα δογμὰτα τῆς ἐκκλησίας. . . (dogmata ecclesiae catholicae. A.)“.

² Так еще Hefele. Concilieng. III, 376; Schwarzlose, op. cit., 51, переводящий данное место Феофана след. образом: „In diesem Jahre begann Kaiser Leo von der Wegnahme der heiligen. . . Bilder ein Edikt zu erlassen“ (сухая бессмыслица!), K. Schenk. Kaiser Leons III Walten im Innern („Byz. Zeitschrift“, 1896, V, 291 и 301); Lombard. Constantin V, 108; иначе, насколько мне известно, лишь И. Андреев. Герман и Тарасий, 25.

³ См. Schenk, op. cit., 269.

⁴ Ввиду неопределенности и мягкости выражений Феофана, некоторые исследователи, как К. Шенк (op. cit., 291), а раньше Папарригопуло склонялись думать, что в этом первом указе Лев III повелевал только перевесить иконы выше, во избежание вульгарного „идолослужения“. Но на такой эдикт мы находим указания лишь в латинском переводе Vita Stephani (у Барония, ann. 725). Правильно считает Ломбард (op. cit., 108) невозможной такую умеренность в первом иконоборче и первом его указе. Здесь виден уже некоторый компромисс, который мог создаться позднее, на переломе борьбы, среди искания примирения. Умеренная иконоборческая фракция складывается лишь в IX в.

ский эдикт. Последнее будто бы подтверждается решительностью выступления папы Григория II, воспрепятствовавшего платежу податей в Италии и Рима и написавшего Льву III значительное послание (*ἐπιστολήν δογματικὴν*) о том, что император не должен рассуждать или вести речь (*λόγον ποιῆσαι!*) о вере и вводить новшества в старинные учения церкви. Такие сильные меры могли быть ответом лишь на открытое объявление и проведение иконоборчества; предварительная же, неопределенная пропаганда иконоборческих идей не могла и не должна была бы вызвать такого бесповоротного отпора. В этой связи, однако, необходимо осторожно разобраться, чтобы выяснить, откуда исходил Феофан в своем построении, т. е. из выступления Льва III или из выступления папы Григория II. Помимо того, что сама по себе сомнительна такая форма протеста против иконоборческой декларации, как податная забастовка (особенно со стороны папства), мы должны будем убедиться в том, что летописец имел сведения лишь о действиях папы и его обращении к императору и из них выводил необходимость предварительного давления императора Льва III, которое не мог представлять себе иначе, как в смысле предложения (в той или иной форме) уничтожить святые иконы и осудить их почитание.

Заметим прежде всего, что Феофан повторяет то же самое сообщение еще два раза: во-первых, под а. м. 6221, в связи с неудачной попыткой императора Льва III перетянуть на сторону иконоборчества патр. Германа. Там он¹ заявляет, что рядом с этим патриархом, отстаивавшим учение благочестия в Константинополе, против императора в старейшем Риме выступал (вообще! NB) Григорий, всесвятой апостолический муж и сопрестольник верховного Петра, блистающий словом и делом, который отложил Рим и Италию и все западные области от политического и церковного подчинения Льва III и от его империи, а в Дамаске Сирийском — Иоанн Хрисоррой. . . и во-вторых, под тем же годом — в связи с низложением Германа и назначением нового патриарха Анастасия.² Нетрудно сообразить, что все три замечания, точно хронологически не фиксируемые, относятся к одному и тому же выступлению папы Григория II, так как третье самим Феофаном отождествляется со вторым (*καθὼς καὶ πρόφην*), второе же, как брошенное вообще, не дает ничего нового сравнительно с первым, совпадая с ним по содержанию (отложение Рима и Италии + обличительное послание). Выявляется, что у Феофана имелось сведение об этих двух шагах папы по отношению к императору Льву, и он явно представлял себе оба шага сделанными вместе, поскольку вызываемы они были одной и той же причиной: иконоборческой яростью Льва III. Каждый новый взрыв этой ярости вызывал (по Феофану) со стороны папы одну и ту же реакцию.

В реальности папских выступлений сомневаться невозможно: они подтверждаются данными и западных источников;³ но вопрос в том,

¹ Theoph. 408,₂₁. „ἐν δὲ τῇ πρεσβυτέρᾳ Ῥώμῃ Γρηγόριος, ὁ πανίερος ἀποστολικὸς ἀνὴρ καὶ Πέτρου τοῦ κορυφαίου σύνθρονος, λόγῳ καὶ πράξει διαλάμπων, ὅς ἀπέστησε Ῥώμην τε καὶ Ἰταλίαν καὶ πάντα τὰ ἑσπέρια τῆς τε πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ὑπακοῆς Λέοντος καὶ τῆς υπ' αὐτὸν βασιλείας + 408, 28 Γρηγόριος δὲ αὐτὸν δι' ἐπιστολῶν ἀριδῆλως ἐλέγχει τῶν τοῖς πολιοῖς ἐγνωσμένων. . .“

² Theoph. 409,₁₄. „Γρηγόριος δὲ ὁ ἱερός πρόεδρος Ῥώμης, καθὼς καὶ πρόφην, Ἀναστάσιον ἄμα τοῖς λιβέλλοις ἀπεκέρυξεν ἐλέγξας τὸν Λέοντα δι' ἐπιστολῶν ὡς ἀσβεβύοντα, καὶ τὴν Ῥώμην σὺν πάσῃ τῇ Ἰταλίᾳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀπέστησεν“.

³ Но только не так называемыми письмами Григория II к императору Льву, о которых см. особую главу в этой книге.

вместе ли и сразу они шли и были ли, действительно, ответом только на иконоборческие попытки. В самом деле, если мы обратимся к Vita Gregorii Papae II, мы обнаружим там совершенно иную, чем у Феофана, перспективу отношений между Григорием II и Львом III, иную последовательность событий.¹ Сразу же отсюда выясняется с убедительной очевидностью, что первое письменное обращение Григория II к императору последовало лишь в 729 г. — после низложения патр. Германа и по поводу назначения патриархом Анастасия.² Это известие и соответствует безукоризненно третьему и последнему заявлению Феофана (409₁₄). Но ясно, что, если бы действительно существовали другие послания, более ранние, то автор Vitae Gregorii, ссылающийся на документы, должен был бы непременно знать о них, так как копии папских писем сохранялись в папских архивах. Поэтому следует совершенно уверенно настаивать на том, что ἐπιστολή δογματική Григория II, упоминаемая Феофаном в первый раз, и ἐπιστολαὶ τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένοι втормого раза — не более как призраки, или, лучше сказать, тени, оттянутые сюда летописцем от третьего сообщения с уличающей его прибавкой: „καθὼς καὶ πρόσφην“.³

¹ В данной связи нельзя оставить без внимания тех остроумных и дельных замечаний, которые находим у Н. Hubert'a в его статье „Etudes sur la formation des états de l'Eglise“ („Revue historique“, 1899, janvier). Г. Юбер отказывается допустить со стороны папы Григория II возможность самостоятельного опровержения иконоборчества и вообще решительного активного участия в борьбе за иконопочитание. До папы Адриана вообще с такой репутацией из Рима не решались еще выступать. Что касается Григория II, то в своем послании к патр. Герману он, уже осведомленный в восточном споре, приводит некоторые аргументы греческих спорщиков, цитирует по ним Василия Великого, Иоанна Златоуста и др., но все-таки он только повторяет и одобряет, но сам не вступает в полемику. Собор в Риме, созванный папой, который назван в гисье папы Гардиана к Карлу Великому (Hardouin, Concilia IV, 805 A) Gregorius Secundus, упомянут только здесь и к тому же едва ли это не Григорий III, в актах Римского собора 732 г. (Günther Neues Archiv, t. XVI, p. 240), названный Gregorius Secundus junior. Вообще папа Григорий II, подобно и прочим папам того времени (первой половины VIII в.), являлся стойким охранителем традиций, правоверным до скрупулезности, но он не был богословом, как, например, Иоанн Дамаскин: он был далек от того, чтобы изобличать иконоборчество в ереси, в христологических ошибках, да и по существу он оставался довольно индифферентным свидетелем загоревшегося спора. Папство, несмотря на крупные успехи Бонифация, еще не устремилось к руководству всем христианским миром. Более ревнивые к своей независимости, чем к своему авторитету, папы заявляли свое несогласие и неудовольствие посредством сессий. И Григорий II все еще явственно избегает активного вмешательства в спор, не берет на себя роли высшего судьи в католической церкви, хотя на Востоке уже тогда начинали смотреть на дело иначе. Постепенно же там все более укреплялась уверенность, что папа должен опровергнуть ересь наряду с Иоанном Дамаскином и патр. Германом. Его авторитет все возрастал, на него обращались взоры, полные ожидания и надежд и, волей-неволей, в представлениях восточных христиан папа становится поборником православия и главой отпора „иконаборчеству“. Именно ведь на Востоке составлены были, в посрамление иконоборчества, знаменитые послания папы Григория II к императору Льву III, весьма популярные в Византии и мало известные в Риме и вообще на Западе. Несомненно, эта точка зрения господствует и у Феофана — ею и обусловлены его сообщения о папе Григории II.

² См. у Mansi. Coll. Conc. 12, 232 C. „Pro qua causâ etiam Germanum... pontificatu privavit isdem imperator, sibique complicem Anastasium presbyterum in ejus loco constituit. Qui missa Romam synodica dum tali haeresi eum consentientem reperiret, vir sanctus non censuit eum fratrem aut consacerdotem solito vocari, sed rescriptis commonitoriis, nisi ad catholicam converteretur fidem, etiam extorem a sacerdotali officio esse mandavit. Imperatori quoque suadens salutaria, ut a tali execrabili miseria declinaret scriptis commonuit“.

³ Между прочим, письма Григория II, которые находим при актах Никейского собора 787 г., не могут служить поддержкой для утверждения Феофана 404₆ и 408₂₈, так как из обнаружения неподлинности этих псевдопосланий видно, что

Затем из той же *Vita Gregorii*, как более надежной в изображении итальянских и римских событий, чем Феофан, мы узнаем, что разрыв добрых отношений между папой Григорием и восточным правительством начинается и складывается на первых порах и не так быстро и не на той почве, как это изображает Феофан. В уверенных подробностях и с убеждающей точностью собственных имен *Vita* говорит, как о начале всего, о заговоре, направленном к устранению Григория II, хотя бы ценой его уничтожения. Руководителями заговора называются дук Василий, хартуларий Иордан и субдиакон Иоанн Лурин. К нему примкнул и спафарий Марин, занимавший римский дукат и посланный из Византии с таким поручением от императора. Но заговорщики не могли найти удобный момент для выполнения своего замысла.

Затем был назначен патриkiem и экзархом в Италию Павл. Снова принялись готовиться к совершению злого дела. Римляне раскрыли замысел, и народ расправился с заговорщиками. „Тем не менее экзарх Павл, по повелению императора, не переставал искать случая уничтожить папу, так как последний препятствовал наложить ценз в провинции, и задумывал лишить церкви их богатств, как это было сделано в прочих местах, а на место Григория поставить другого“.¹ Из всего контекста явствует, что корнем всего зла был протест папы против финансовых распоряжений императора, которые прошли удачно в других областях, но в Риме и Италии встретили отпор со стороны главы церкви. Отпор этот был, повидимому, настолько решителен, что восточному правительству оставался лишь один выход — избавиться от стойкого защитника иммунитета церквей и заменить его другим папой. „Вслед за тем, — повествует *Vita*, — послан был другой спафарий с приказом, чтобы папа был удален с престола. Вновь патрикий Павл отправил для совершения этого преступления из Равенны с своим комитом тех, кто мог склонить и еще нескольких из лагеря“. Но в Риме и среди лангобардов поднялось движение на защиту папы, что и не дало совершиться злему делу. В присланных затем² указах император постановлял, чтобы нигде не имелось ни одной иконы... и если к этому примкнет папа, то заслужит благодарность императора.

Таким образом, по *Vita* выходит, что податная забастовка, в которой и заключался открытый отказ от подчинения, „отложение“ от империи Рима и Италии, не была ответом папы на иконоборческое давление с Востока, а являлась, как кажется, причиной враждебного отношения Льва III к папе Григорию. Что бы ни означал собой тот „ценз“, наложению которого упорно противился папа: сочтенный ли со стороны последнего незаконным и нарушающим иммунитет церкви налог на ее земли и имущества, или же *superindictio* 726 г. = дублированную *caritatio*,³ для нас в данном случае безразлично; важно лишь то несомненное предшествование отказа какому бы то ни было иконоборческому выступлению Льва III, которое, будучи точно и

не Феофан их имеет в виду, а, повидимому, они составлялись в Византии на основании данных Феофана. См. ниже специальную главу о них.

¹ Mansi. Coll. Conc. XII, 229—230. „Paulus vero exarchus imperatoris iussione eundem pontificem conabatur interficere, eo quod censum in provincia ponere praepediebat, et cogitaret (?) suis opibus ecclesias denudare, sicut in caeteris actum est locis, atque alium in eius ordinare loco“.

² Ibid. „Yussionibus itaque postmodum missis decreverat imperator, ut nulla imago ulicunque haberetur . . .“.

³ Как толкует его Н. Hubert, *op. cit.*, 7.

уверенно констатировано в *Liber Pontificalis*, решительно идет вразрез с показанием Феофана и обличает его выдуманность. Предложение Льва III уничтожить все иконы и осуждение иконопочитания в западном источнике вписывается явно как позднейшая, производная мера воздействия на непокорного римского епископа. Если же ранее и употреблено выражение *suis oribus ecclesias denudare*, то, как бы ни истолковывать это явственно испорченное место (*et cogitaret* — отчего *coniunctivus*?), все-таки извлечь из него намек на обнажение церквей именно от икон не представляется никакой возможности.¹

Из этой апелляции к западному источнику мы, таким образом, выходим укрепленными в сделанном раньше предположении: сообщение Феофана о первом иконоборческом выступлении императора Льва III, понимать ли его в буквальном смысле (*ἵρξατο λόγον ποιέεισθαι*), или в мало приемлемом смысле первого эдикта об уничтожении икон, одинаково представляет собой „пустое место“, не более как результат прагматизирующих соображений православного летописца, который, будучи осведомлен о происшедшем столкновении императора и папы по вопросу о платеже дэнза с римских церквей, не мог себе представить иной его причины, кроме вызвавшей справедливый отпор иконоборческой декларации, и пришел к логической необходимости установления ее и внесения в повествование как исторического факта. При этом — самая расплывчатость выражения („λόγον ποιέεισθαι“) обличает Феофана в том, что определенного шага или поступка Льва III он не знал и вышел из затруднения нейтральной формулировкой своего утверждения.²

8

Разобранное выше сообщение о начале иконоборчества повлияло и на дальнейшее повествование Феофана. И там, где он вместе с патр. Никифором нашли в своем общем источнике указание на то, что страшное извержение около 600-х годов Феры и Ферасии дало кругу Льва III повод и основание „встать против благочестия и начать подготовку иконоборчества путем пропаганды своих взглядов в народе“, как это добросовестно и выписано в *Ἱστορία συντομος*,³ Феофан, связанный своим заявлением а. м. 6217, принужден в данном случае утверждать уже „усиление войны против святых и честных икон“, т. е. снова сообщать значительно более того, что он знал и что мог почерпнуть

¹ Выражение это, как указывает Н. Hubert (стр. 6, прим. 4) не может значить: „наложить подать на церковные имущества“, а скорее означает: „сграбить церкви“. Это правда, но при известных условиях последнее отождествляется с первым; тем более, что далее автор *Vitaе* сообщает, что все пентапольцы и венецианское войско и вообще все итальянцы, проклявши экзарха Павла и пославшего его, избрали себе по всей Италии вождей (дуков) — „*atque sic de pontificis deque sua imunitate cuncti studebant*“. Термин *immunitas* в VIII в. имел весьма определенное значение и употреблен здесь автором едва ли случайно.

² Еще очевиднее проступает это „логическое“ происхождение факта начала иконоборчества в той (первоначальной) редакции летописи, которую застаем в переводе Анастасия: „*anno imperii Leonis nono Gregorius papa Romanae praest ecclesiae. Quo videlicet anno coepit impius imperator Leo depositionis contra sanctas imagines facere verbum. Quod sum didicisset Gregorius, tributa Romanae urbis prohibuit et Italiae*“.

³ *Nicēph. 57*,₂₁. „ἐντεύθεν λοιπόν κατὰ τῆς εὐσεβείας ἵσταται καὶ τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων μελετᾷ τὴν καθάραισιν... ἐκδιδάσκειν δὲ τὸν λαὸν τὸ οἰκτεῖον ἐπεχειρεῖ δόγμα“.

в источнике.¹ Конкретизировать же это сообщение ему приходится повторением того, что союзником в деле он имел Висира, с которым оба были полны невежества, источника многих зол, и затем перечислением тех мер правительства, которые и должны составлять „еще более бесстыдную войну против икон“. Но картина получается чрезвычайно бледная, не только не убедительная, но убеждающая как будто в противоположном тому, к чему стремился автор. Снова перед нами вместо фактов „пустые места“, свидетельствующие о том, что Феофан не располагал никаким материалом. Придерживаясь максималистического тона, он смело бросает фразу о всенародном возмущении против правительственных новшеств, которые, однако, так и остаются неизвестными. Столичные толпы замышляют итти против императора, т. е. готова вспыхнуть революция в Константинополе, но происходит лишь избитые несколько императорских людей. В результате же жестокие кары и казни „за благочестие“ постигли не эти толпы, а многих, хотя опять-таки точнее не обозначенных, выдающихся представителей родовитой знати и интеллигенции.² Видно, что Феофан путается в окружающей его пустоте и впадает в противоречие сам с собой. Изюм всей „бесстыднейшей войны против икон“ как факт, воспринятый извне, а не взращенный „собственным умом“, мог быть выдвинут здесь лишь весьма подозрительный, хотя и весьма знаменитый, „халкопильский инцидент“.

Это событие мы находим знаменательно отсутствующим у патр. Никифора, но значительно подробнее, чем у Феофана, изложенным в крупном Житии св. Стефана Нового (рубежа VIII и IX вв.) и в специальных актах мучеников, пострадавших за убийство протоспафария Иувина.³ Давно уже, с одной стороны, было отмечено,⁴ что, кроме этого случая, ни Феофан, ни прочие историки VIII и IX вв. не знают решительно ни одного подобного иконоборческого мероприятия императора Льва III. Столкновение у Медных ворот является как бы единственным происшествием, которое могло быть истолковано как доказательство иконоборческой деятельности Льва III. Оно и принимает поэтому несколько исключительный характер, подсказывающий призрачность иконоборчества как решительно двинутой общей реформы этого императора. Если бы Лев III действительно провел истребление икон, то, конечно, противные ему круги запомнили бы и еще целый ряд особенно ярких иконоборческих выступлений. Таковых, очевидно, просто не было, и можно склоняться к мысли, что и халкопильское столкновение было лишь позднее истолковано в смысле столкновения гонителей и защитников икон, так как, с другой стороны, нельзя не придавать значения и тому, что событие это передается почти современными писателями в весьма расходящихся, местами исключаящих друг друга, версиях. Оставляя пока более детальный анализ

¹ Theoph. 405,1 „... λέοντας ὡς... λογισόμενος ἀνχιδέστερον κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ἤγειρε πόλεμον, σύμμαχον ἔχων Βηθηρ τὸν ἀρνησίθεον καὶ τῆς Ἰσης ἀλογίας ἐφάμιλλον“.

² Theoph. 405,5. „Οἱ δὲ κατὰ τὴν βασιλίδαν πόλιν ὄχλοι σφόδρα λυπούμενοι ἐπὶ ταῖς καιναῖς διδασκαλίαις αὐτῶν τε ἐμελέτων ἐπελθεῖν καὶ τινας βασιλικούς ἀνθρώπους ἀνεῖλον καθελόντας τὴν τοῦ Κυρίου εἰκόνα τὴν ἐπὶ τῆς μεγάλης Χαλκῆς πύλης, ὡς πολλοὺς αὐτῶν (?) ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τιμωρηθῆναι μελῶν ἐκκοπαῖς καὶ μάστιγι καὶ ἔσθρῳ καὶ ζημίαις, μάλιστα δὲ τοὺς εὐγενεῖς καὶ λόγῳ διαφρανεῖς“.

³ Составл., кажется, в половине IX в. См. А. А. S. S., Augusti, t. II, add. IX.

⁴ И. Андреев. Герман и Тарасий, 28.

и проверку известий о халкопильском столкновении,¹ я здесь отмечу только, что рассказы обоих названных житий противоречиво колеблются и в хронологическом отношении и в изображении существенных моментов мало понятного происшествия. И особенно поучительны здесь плохо прикрытые признаки участия в этом деле не кого другого, как первого поборника иконопочитания, патр. Германа, которые к тому же обнаруживаются в самом раннем очерке события, в Житии св. Стефана. Здесь повествуется о том, что после уничтожения дерзкого спафария, пытавшегося снять изображение Христа с Ворот, народ двинулся ко дворцу патриарха и бросал в него камни, приговаривая: „Мерзкая голова! Неужели ты для того только принял священство, чтобы губить священные украшения?“² Таким образом, самая ранняя, неприбранная версия допускала попытку уничтожения образа спасителя не только с согласия, но по поручению именно патриарха, а не императора. Автор Жития, уже усвоивший утвердившийся взгляд на Германа как на первого оппонента иконоборчества и стойкого исповедника „православия“, волей-неволей принужден был внести переработку в рассказ и смело перенес эпизод ко времени патриаршества Анастасия, преемника Германа, но впал тем самым в грубую хронологическую ошибку. Что для нас, однако, должно остаться несомненным, — это наличие определенного участия в „халкопильском покушении“ патр. Германа в первоначальном рассказе, наличие, которая свидетельствует о каком-то ином значении самого события. Что за столкновение было у Медных ворот, догадаться уже трудно, так как с течением времени (к концу VIII в.) оно подверглось перетолкованиям и утвердилось в памяти иконопочитателей как единственное проявление иконоборчества, как единственный случай уничтожения св. изображения за все царствование Льва III. В качестве же такового, как его и выдвигает Феофан, этот эпизод, конечно, не может служить к подтверждению иконоборческого гонения при Льве III. И те попытки спасти это происшествие и придать ему известный смысл, которые мы находим в исторической литературе, едва ли следует признать удачными. Было указано,³ что „действительное иконоборчество началось удалением икон в виде статуй“, причем в подтверждение делалась ссылка на заявление патр. Германа в его *De haeresibus et synodis*.⁴ Но здесь автор говорит вовсе не о последовательности истребления икон, а о беспощадной ярости иконоборцев, которые не удовольствовались удалением лишь скульптурных изображений (что не противоречило собственным взглядам Германа и на что он мог даже дать свое согласие),⁵ но уничтожали и красоту живописных икон в храмах. Иных же оснований для такого предположения, кроме все того же неизменного эпизода у Медных ворот, не имеется. Это правда, что изображение

¹ См. ниже главы, посвященные агиографическим произведениям VIII—IX вв.

² *Vita Stephani Jun.* — у Migne. Patr. Gr. 100, 1085 D.

³ И. Андреев. Герман и Тарасий, 27.

⁴ Migne. Patr. Gr. 98, 79—80 B. „οὐκ ἠρκέσθησαν τῇ διὰ σανίδων μόνον ἐκποίησει τὰ τῶν ἁγίων περιέρεσθαι εἰκονίσματα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν γραφίδι ἐφάμιλλον τοῦτοις κόσμησιν τῶν σελητοτάτων νεῶν ὀλικῶς ἐξορτυτῆσθαι“.

⁵ Из послания того же патриарха к еп. Фоме Клавдиупольскому мы узнаем, что он не был сторонником икон-статуй, считая воздвижение их даже языческим обычаем. См. Migne. Patr. Gr. 98, 188 A. „Οὐ τοῦτο δὲ λέγομεν ἡμεῖς, ὥστε τὰς ἐκ χαλκοῦ στήλας ἐπιτήδευσεν ἡμᾶς, ἀλλ' ἢ μόνον δηλώσαι, ὅτι καὶ τὸ κατ' ἐθνικὴν συνήθειαν μὴ ἀποποιησάμενου τοῦ Κυρίου, ἀλλ' εὐδοκήσαντας...“.

спасителя в Халкопратии было скульптурное.¹ Но ведь иконоборческое „низвержение“ так и не пошло дальше попытки уничтожить эту статую, и утверждать, с чего начали иконоборцы и чем кончили, по одному этому случаю едва ли мыслимо.

Ряд „самостоятельных“ сообщений Феофана, вкрапленных по следующим годам и изображающих столкновения с иконоборцем-императором патр. Германа, уже не требуют такого детального обследования, так как все они не вносят ничего нового и существенного в изложение истории иконоборческого движения, не оживляют конкретным фактическим содержанием общих утверждений о крутом и беспощадном гонении на иконы и иконопочитателей при Льве III, которые так и остаются у Феофана безнадежно голословными. В то же время все они не внушают и к себе доверия, поскольку слишком отзываются риторикой и анекдотом и отличаются неуклюжим, сбивчивым распределением. В православной среде к началу IX в., когда составлял свою летопись Феофан, очевидно, накопилось и ходило много рассказней и поучительных „памяток“ о славном старце — патриархе, первом и последнем стойком борце за порушенное православие, пророке и чудотворце, оставившем после себя целый ряд писаний, в которых он высказывался против иконоборчества. И учительные послания Германа и его трактат *De haeresibus*, по многому заметно, были очень популярны: они читались и перечитывались в течение нескольких десятилетий. И недаром на Соборе 754 г. первой анафемой покрыто было особенно прославленное имя этого патриарха, а на Соборе 787 г. вновь торжественно читаны были послания его как образцы исповедания истинного благочестия, диакон же Епифаний в своем опровержении „Орос“а Собора 754 г. заявляет, что сочинения „уподобившегося божественным отцам“ патриарха „получили распространение и утвердились по всей вселенной“. Те же самые сочинения Германа, повидимому, одни из немногих или уцелевших, или даже просто существовавших ранних деклараций иконопочитания и опровержений иконоборчества, должны были служить и материалом для создания многочисленных рассказов о смелых и вдохновенных выступлениях его против „звероименного“ иконоборца-императора. Это и понятно при той любви к драматизации исторической передачи, которая характерна для византийских писателей VIII—IX вв.; но в то же время заставляет изучающего с великой осторожностью относиться к беседам и речам, которые приводятся в хронографии и агиографии даже со ссылкой на очевидцев, так как ясно, что перед нами лишь один из излюбленных литературных приемов в среде, искавшей прежде всего навидания и религиозного воодушевления, а не голый, холодной правды.² Часть этих рассказов, которые мы находим обильно рассыпанными и риторически приукрашенными главным образом в агиографии,³ включил в свое летописное повествование и Феофан, нагрузив ими год а. м. 6221. В его пределах и разыгрывается от начала до конца вся великая драма патриарха: здесь император делает первую попытку перетянуть Германа на сторону иконоборчества; здесь получает от него решительный отпор; здесь император переходит к попыткам

¹ Прямое указание на это находим у Кодина в *Excerpta de originibus Constantinopolitanis*: „in Chalce statuam aeream Domini nostri Iesu crexerat Constantinus Magnus...“.

² И. Андреев. Герман и Тарасий, 190.

³ Житие св. Стефана Нового. Акты Констант. мучеников, житие Никиты Мидийского и др.

погубить патриарха путем обвинения в злом умысле против его власти; здесь происходит столкновение между Германом и „иудой“ — Анастасием; здесь же, наконец, повествуется о последнем исповедничестве патриарха на иконоборческом селентии и об оставлении им патриаршества. Характерно, что все это изложено так, как будто бы все события произошли зараз, хотя и ясно, что между ними должны были быть промежутки. Насколько можно судить, лишь последнее известие Феофан нашел в своем источнике под данным годом, и таким образом, вместе с патр. Никифором (в *Ἱστορία σύντομος*) располагал в качестве установленного до него факта только попыткой Льва III на большом собрании народа провозгласить „иконоборчество“, заставив патриарха составить или утвердить своей подписью акт реформации, попыткой, окончившейся неудачно, так как Герман отказался своей властью, без вселенского собора проводить реформацию и сложил с себя патриарший сан. В этот год, ставший „годом о св. Германе“, Феофан и занес, забывая о хронологии, от себя все, что в его памяти ассоциировалось с подвигами патриарха: два ярких эпизода, в которых, помимо непреклонности в православии, выступает явственно особая „вещь“, „профетизм“ Германа, возвышавшие его, как верил Феофан, над простыми смертными. Один¹ из них — анекдот с отгадкой истинного имени Льва III (Конон); другой² — с предсказанием страшной судьбы будущего патр. Анастасия. В фактическом отношении оба они совершенно ничтожны и пусты, в смысле же достоверности или даже правдоподобия — весьма подозрительны и малопримемлемы. В первом эпизоде слишком видна его сочиненность и наивно-надуманная игра на якобы двойном имени императора, которая была бы совсем неуместна со стороны Германа, если бы он и мог знать о странной двуименности Льва III. Второй же случай, придуманный для прославления пророческого дара „вещего“ Германа, только компрометирует последнего, так как оказывается, что он ошибся в предсказании, перепутав судьбу двоих своих преемников: Анастасия и Константина.

Как бы то ни было, эти сообщения Феофана мы вправе отнести к категории „пустых мест“, из которых у него, оказывается, и составлено в большей своей части повествование о ходе иконоборческого движения. На фоне других линий событий этого периода, в реальности которых сомневаться невозможно, хотя бы они переданы были и с искаженными ликами, именно иконоборчество проходит бледным, невразумительным призраком хронологически расплывающихся, фактически неуловимых утверждений вообще. В этом смысле еще более, чем повествование года а. м. 6221, характерна передача событий года а. м. 6218. Вот остов ее, не требующий дальнейших комментариев:

а) Извержение у о-вов Феры и Ферасии — *ὁ θεόμαχος Λέων... ἀναϊδέστερον κατὰ τῶν εἰκόνων ἤγειρε πόλεμον.*

б) Эладико-кикладское восстание и его подавление — *καὶ ἔτι δὲ τῆς κακίης Λέων ὁ δυσσεβῆς καὶ οἱ τοῦτου σύμφρονες τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας διωγμὸν ἐπιτείνοντες (и только!).*

в) Осада Никей арабами и поражение арабов „по неисповедимому суду божию и во обличение тирана“ — *οὐ μόνον γὰρ περὶ τὴν σχετικὴν τῶν εἰκόνων ὁ δυσσεβῆς ἐσφάλλετο προσκύνησιν (высказывается и „вообще“ и не как самостоятельно констатируемый факт, а только как мотив,*

¹ Theoph. 407,¹⁵⁻²¹.

² Theoph. 407,²⁹—408,¹⁸.

далее же переходит неуловимо в фактический тон), ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πρεσβειῶν τῆς πανάγῳ Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων (и голословно и неверно!) καὶ τὰ λείψανα αὐτῶν ὁ παμμίαρος, ὡς οἱ διδάσκαλοι αὐτοῦ Ἄραβες, ἐβδελύττετο.

Я не сомневаюсь в том, что последнее заявление о мощах навеею довольно подозрительным утверждением патр. Германа в его *De haeresibus et synodis*:¹ „τὰ γὰρ τῶν μακαρίων καὶ αὐδιμῶν μαρτύρων λείψανα, ὑπὸ τῶν τῆς Ἐκκλησίας διδασκάλων συγκομισθέντα (ср. противополжных им διδάσκαλοι Льва III у Феофана)... ἀπογυμνωσαντες, πυρὶ κατανάλωσαν“. Отсюда и изобличающая источник ассоциация, принимающая форму догадки:

d) „ἐκ τοῦδε τοίνυν (NB) τοῦ χρόνου ἀναιδῶς τῶ μακαρίῳ (реминисценция из *De haeresibus*) Γερμανῶ... προσετίβετο, μεμφομένως πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ βασιλεῖς καὶ ἀρχιερεῖς καὶ χριστιανούς λαούς, ὡς εἰδωλολατρήσαντας ἐπὶ τῇ προσκυνήσει τῶν... εἰκόνων, μὴ χωροῦντος... τον περὶ σχετικῆς προσκυνήσεως λόγον“.² Это заключение Феофана в контексте приходится переводить таким образом: „Значит, вот с какого времени император (должен был начать или) стал обращаться бесстыдно с блаженным Германом, патриархом Константинопольским...“ и т. д. Мы видим, что все повествование Феофана об иконоборческом движении при Льве III складывается из однообразно припеваемых при другого рода сообщениях рефренов: „ἐκμανεῖς δὲ ὁ βασιλεὺς κατὰ τῶν εἰκόνων ἤγειρε (ἐπέτεινε) πόλεμον (διωγμὸν)“. Кроме этого многократно повторенного общего, пустого места, мы ничего от него не слышим; им же безнадежно заканчивает он и все повествование о таком, казалось бы, ярком, долженствовавшем отчетливо запомниться в своих ужасных конкретных подробностях движении, как первый взрыв иконоборчества.³

Итак, что же мы вправе и в состоянии, помимо мультиплицируемого „припева-пустышки“ о том, что „нечестивый или тиран еще пуше напряг гонение против честных икон“, извлечь из Феофана относительно иконоборчества императора Льва III?

Кроме того, что на стороне Льва оказался епископ Наколийский, а против него папа Григорий II,⁴ Иоанн Дамаскин и патр. Герман, — ровно ничего. Все истребление икон выразилось в подозрительном халкопратийском столкновении; все движение — лишь в попытке (неизвестно, чем завершившейся) издать декларацию против иконопочитания; все гонение — в преследовании после ухода Германа неких „многих клириков и монахов и благочестных мирян“ за правое слово (τοῦ ὁρθοῦ λόγου). Где же здесь „иконоборчество“? Если произошло столкновение с папой и Западом, то разрыв начался вне вопроса об иконах, и последний, если и играл роль, то уже впоследствии, как мотив производный. Если выступил на защиту якобы истребляемых икон и поруганного иконопочитания Иоанн Дамаскин, чего отрицать нельзя, поскольку следы этого выступления налицо, то необходимо еще

¹ Migne. Patr. Gr. 98, 80 C.

² Ср. опять-таки с *De haeresibus*, Migne. 98, 77 β-с. „κακουργότατα πειρῶνται τοὺς τῶν ἁγίων χαρακτήρας μεταφέρειν ἐπὶ τὰ εἶδωλα, εὐσέβειαν ἐπιζημιον ἀνοσίως ἐπιτηδεύοντες, ὡς δὴδεν καὶ τὰς πρὸ ἡμῶν γενεὰς ἐν πλάνῃ βιῶναι ἀποκλαίόμενοι...“.

³ Theoph. 409,₁₈₋₁₉. „ἐκμανεῖς οὖν ὁ τύραννος ἐπέτεινε τὸν κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων διωγμὸν...“.

⁴ Со всей Италией и даже „эллиадиками и кикладцами“, стоявшими в церковном отношении под верховенством римского епископа.

принять в соображение, что Иоанн протестовал лишь по слухам, которые до его „дамасского далека“ могли дойти и в весьма извращенной форме. Видный сановник и верный слуга мусульманского правительства, с легким сердцем и великой готовностью уживавшийся с исламом, не мог смолчать, когда до него дошли вести о „малых переменах“ из чуждого ему Константинополя. Вообще Иоанн Дамаскин — не свидетель и сообщение о нем — не аргумент: его выступление не может убедить в реальности того, против чего он выступал.¹ Наконец, оппозиция иконоборческой доктрине и затем низложение патр. Германа — сами по себе факты несомненные, но нельзя пройти с спокойным сердцем мимо тех крупных расхождений, которые замечаются в источниках при изображении столкновения между Львом III и Германом и его исхода. Патр. Никифор, несмотря на пользование общим с Феофаном источником, Кедрин, несмотря на свою зависимость от Феофана, диакон Стефан дают явно разнствующую версию — знак того, что к концу уже VIII в. эти мрачные события в точности не запомнились и не оставили по себе никаких документальных свидетельств. Оттого и сделались возможными перетолкования и вариации полузабытой борьбы. Версия, которую выдвигает Феофан из переработки рассказа иконоборческой хроники, едва ли может считаться надежнейшей во всех своих указаниях. Ей обычно придают особенное значение потому, что из нее извлекают явное указание на официальное выступление иконоборцев, на определенный эдикт, изданный Львом III в 730 г. против икон и их почитания. Но если этот рассказ о собрании против икон и низложении Германа читать без предвзятости, как он в своей сущности одинаково выписан у Феофана и патр. Никифора, то в нем можно найти указание как раз лишь на то, что подготовлявшийся правительством общий акт против иконопочитания утвердить и издать не удалось, ввиду решительного протеста патр. Германа и его ухода с патриаршества.

Если бы, несмотря на разыгравшийся скандал, эдикт был издан, хотя бы с соизволения следующего патриарха, Анастасия, оба летописца не преминули бы упомянуть о таком крупном по своему нечестивому акте. Неопределенность же их выражений благоразумнее толковать не максимально, а минимально, т. е. в совпадающем у обоих сообщении читать не более того, что написано. Необходимость такого понимания этого места подкачивается чрезвычайно важным в данном случае показанием самого патриарха Германа — в его трактате об ересьях и соборах, писанном, несомненно, уже по уходе на покой. Здесь, при всем явно преувеличивающем тоне плохо сдерживаемого великого гнева и скорби, автор, сам потерпевший участник борьбы, однако, ни намеком не дает понять об издании Львом III какого-либо общего реформационного акта или иконоборческого указа.

Анализируя повествование Феофана о царствовании Константина V, которое он, в согласии со всеми историками и богословами-публицистами VIII—IX вв., считает центральным моментом иконоборческой эпохи, временем жесточайшего напряжения „нечестия и ереси“, мы сразу должны заметить, что в его пределах — сообщение собственно об уничтожении икон, о гонениях на иконопочитание не только значительно меньше, чем в коротком рассказе о правлении Льва III, но их и вообще почти нет здесь. Если оставить в сто-

¹ Тем более, что Феофан при этом допускает ошибку, говоря, что Иоанн „σὺν τοῖς τῆς ἀνατολῆς ἐπίσκοποις τοῖς ἀναθέμασι τὸν ἀσεβῆ καθυποβάλλει“. Theoph. 408, 29.

роне совпадающие с показаниями патр. Никифора и отмеченные нами раньше известия об иконоборческих постановлениях Собора 754 г. и всеобщей присяге о непоклонении иконам, то в качестве „самостоятельных“ данных Феофана об „иконоборчестве“ Константин V можно отметить лишь одно сообщение, с некоторой натяжкой — два. Наблюдение — очень характерное, обнаруживающее почти полное отсутствие у Феофана (и вообще у православных писателей) фактического материала относительно этой, считавшейся наиболее выпукло выраженной стороны деятельности ненавистного императора, и подсказывающее мысль о том, что эта сторона дела, т. е. специфическая борьба с иконопочитанием, отодвигалась при Константине V еще более на второстепенный план перед иными линиями движения, которые представлены наоборот яркими и обильными фактами.

Первое из „собственных“ известий Феофана об иконоборчестве Константина V — это весьма известное в исторической литературе место — а. м. 6244.¹ Предшествуя рассказу а. м. 6245 об уверенном и принятом в обществе если не с полным сочувствием, то во всяком случае без всякого протеста иконоборческом соборе и заполняя собой пустующий без того а. м. 6244, это сообщение, не отличаясь особо убеждающей конкретностью, выдает свое происхождение. Конечно, император Константин не мог на самом деле занять целый год ежедневными silentиями и такой излишне упорной пропагандой своих реформационных взглядов. Феофан счел необходимым показать, почему „нечестивый и беззаконный синаедрион“ не вызвал отпора в народе и прошел с полным успехом. Очевидно, рассуждал он, Константин заранее проложил себе путь („προοδοποιῶν τὴν μέλλουσαν ἀσέβειαν“) и совращал, смущал народ („ἔπειθε τὸν λαὸν δολίως ἔπεσθαι“). То же рассуждение мы встречаем у многих писателей, кроме Феофана: его следует признать весьма распространенным, даже излюбленным в православной литературе IX в. Таким образом, в этом известии о ежедневных silentиях приходится увидеть не более как только логическое соображение Феофана, выраженное, как часто у него, в форме фактического утверждения.²

К той же категории сообщений Феофана можно отнести еще большой рассказ о чудотворных мощах всехвальной мученицы Евфимии,³ который представляет собой неловко впаянный в летописное повествование самостоятельный, случайно попавший в данный (а. м. 6258) год кусок. Рассказ разработан по всем правилам агнографической реторики: с патетически подготовляющим введением, изложением главного события и чудесного оборота его впоследствии, с заключительной ссылкой на аутопсию и прославлением благочестивых царей. В общем — это, правда, кратко выраженный, но сохранивший свою типичность остов или конспект „похвалы“ останков мученицы Евфимии. Если это так, то становится понятным происхождение этого рассказа у Феофана. Последний, конечно, исходил из того торжества обретения мощей и

¹ Theoph. 427, 19. „Τούτω τῷ ἔτει ἀρθεῖς τῷ φρονήματι Κ. ὁ δυσσεβὴς πολλὰ κατὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ ὀρθοδόξου πίστεως μελετῶν, σιλέντια καθ' ἑκάστην ποιῶν τὸν λαὸν ἔπειθε πρὸς τὸ ἴδιον αὐτοῦ φρόνημα δολίως ἔπεσθαι, προοδοποιῶν τὴν μέλλουσαν αὐτῷ ἔσεσθαι τελείαν ἀσέβειαν“.

² В другом месте моей работы я объясняю, почему придерживаюсь такого чтения данного пассажа, опираясь на текст перевода Анастасия, и почему неприемлемо предложение г. Мелиоранского читать вместо „καθ' ἑκάστην ποιῶν“ — „καθ' ἑκάστην πάλιν ποιῶν“.

³ Theoph. 439, 15—440, 11.

прославления их, участником или свидетелем которого он был.¹ Может быть, весь очерк является самостоятельным наброском Феофана, может быть, он, сокращая, экцерпирует чужую „похвалу“, составленную по случаю торжества „явления“. Полагаю, что это было безразлично, так как и в том и в другом случае фактическим центром оказывается именно чудо новоявления мощей. Отсюда делалась предшествовавшая попытка уничтожения священных останков, совершенно естественно приурочивавшаяся к нечестивой деятельности „беснующегося тирана“. Но если даже такое приурочение было и основательно, т. е. если действительно по повелению Константина V были сокрыты (от соблазна) мощи св. Евфимии, то в этом ничего невероятного усматривать не приходится. Вопрос о мощах и до VIII в. и в VIII в. был одним из самых болезненных церковных вопросов, так как на почве их почитания возникало очень много злоупотреблений и так как реликвии в руках монашества оказывались одним из действенных средств для усиления влияния и для материального преуспеяния. Борьба с ненормальным положением монастырей, какое они заняли к VIII в. в государстве и обществе, естественно, могла коснуться и этого пункта. Из наших источников мы, правда, не знаем еще ни одного случая „закрытия“ или уничтожения мощей при Константине V, кроме указываемого Феофаном. Сообщая, что, если бы были такие яркие примеры нечестия Константина, православные враги его не забыли бы их поставить ему в вину, мы можем склоняться к мысли, что массового или всеобщего истребления мощей, вероятнее всего, и не проводил этот император, а в отдельных случаях (наиболее броских) решался на закрытие мощей. К этому следует добавить, что движение против почитания мощей никак не могло идти под одним знаком с борьбой против икон, не могло развиваться из узкого иконоборчества, так как богословские предпосылки того и другой совершенно различны.

Вот почему вводная часть очерка, подготовляющая „погружение“ мощей св. Евфимии Константином V и в данном хронологическом контексте выдвигающаяся на первый план (по значительности содержания), как будто бы, свидетельство о напряжении иконоборческого нечестия императора и не может быть сочтена за самодовлеющее общее сообщение. Уничтожение мощей св. Евфимии — не яркая иллюстрация к такому положению, а наоборот, — введение добавлено в качестве необходимого фона для более выпуклого изображения случая с мощами. Ход построения всей „похвалы“ таков: Феофан сам сподобился видеть чудо „явления“; следовательно, было нечестивое „погружение“, совершенное Константином V, который, стало быть, отрицательно относился к мощам вообще и преследовал тех, кто почитал мощи. Относясь же так к мощам, Константин показывал, что он не признает и святых и первую из них, богородицу, считая бесполезными молитвы им и их изображениям, врагом которых он выступал с самого начала, и таким образом превзошел даже арабов в иступленности, называясь христианским государем.² Расположено же сообщение в обратном

¹ 440, 2., „ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν ἐστ. βασ. ἰνδ. δ', μετὰ τῆς προέουσης τιμῆς ἐπανῆλθεν ἐν τῷ τεμένει αὐτῆς, ὅ. . . . αὐτοὶ δὲ ἀνακαθάραντες τούτῳ πάλιν καθιέρωσαν. . . . τούτῳ δὲ τὸ θαυμαστὸν καὶ ἄξιόγραφον θαῦμα μετὰ χρόνους κβ' τῆς τοῦ παρῶναιου τελευτῆς συν τοῖς εὐσεβεστάτοις βασιλεῦσι καὶ Ταρσῶν τῷ ἀγιωτάτῳ π. ἡμεῖς τε δεῖξάμεθα καὶ σὺν αὐτοῖς κατῆρπασάμεθα ὡς ἀνάξιτοι μεγάλης ἀξιώθεντες χάριτος“.

² „τὸ θαυμαστὸν θαῦμα. . . . τεδείξάμεθα + ὁ (γάρ) θεὸς ὁ φυλάσσων τὰ ὀστέ. . . ἰσινὲς τὸ λείψανον διεφύλαξε πάλιν ἀναδείξας + ὁ (γάρ) ἀνόσιος βασιλεὺς διεπράξατο βυθίσας αὐτὸ + τὰ ἕγια λείψανα κληρονομητῶν καὶ ἀφανῆ ποιῶν + πανταχοῦ τὰς πρεσβείας πάντων τῶν ἀγίων“.

порядке. Подтверждается это во 1) голословностью и безликостью утверждений Феофана об отмене молитвенных обращений к богородице и всем святым и о беспощадном уничтожении всех мощей; а во 2) ошибочностью этих утверждений, опровергаемых тезисами, провозглашенными Собором 754 г. Итак, мы в данном случае снова сталкиваемся у Феофана с а-фактивными сведениями, с его соображениями, введенными в повествование в форме фактов. И особенно знаменательно то, что в таком виде и составе он сообщает как раз материал, касающийся иконоборчества как такового, обнаруживая тем, что именно фактических данных этой категории у него почти и не было в распоряжении.¹

Наряду с этими „пустыми местами“ самостоятельного повествования об иконоборчестве, блещут конкретностью и точностью такие же, повидимому, пойманные со слуха, вероятно, не перестававшие ходить в потрясенных „православно-благочестивых“ кругах рассказы о „великом царском терроре“, громившем, при Константине V особенно решительно и беспощадно, монашество и монастыри как таковые, т. е. не как центры и оплоты сопротивляющегося иконопочитания, а как общественные группы и их организации, ставшие тягостными и опасными для благополучия и преуспевания государства. Сообщения такого рода у Феофана должны быть оценены как весьма надежные — и прежде всего своим количеством,² а затем и отчетливостью обозначений, индивидуальной содержательностью. В них допустимы ошибки, недоразумения, смешения, но в реальности передаваемых фактов, скрепленных и припечатанных собственными именами лиц, мест, областей, церквей и монастырей, характерными и техническими терминами, ни на мгновение усомниться невозможно.

Кроме разобранных выше, как поддерживаемых патриархом Никифором и, стало быть, могших восходить к предшествующей им обоим хронике, показаний той же категории, следует обратить внимание, во-первых, на „диптих“ (Андрея — Петра), в котором обыкновенно усматривается ошибка со стороны Феофана: а) а. м. 6253. „Κωνσταντῖνος ὁ διώκτης Ἀνδρέαν, τὸν αἰοῖμον μοναχόν, τὸν λεγόμενον Καλυβίτην ἐν Βλαχέρναις διὰ μαστιγῶν ἐν τῷ ἱππικῷ τῷ ἁγίῳ Μάμαντος ἀπέκτεινεν ἐλέγχοντα αὐτοῦ τὴν ἀσέβειαν καὶ Οὐάλεντα νέον (Οὐάλεντα νέοντα νέον em)³ καὶ Ἰουλιανὸν ἀποκαλοῦντα αὐτόν. ὃν καὶ ἐν τῷ ρεύματι ριφῆναι προσέταξεν —, и в) а. м. 6259. ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου πλείονι μανία ἐχρήσατο. ἀποστείλας γὰρ κατήνευκε Πέτρον τὸν αἰοῖμον στυλίτην ἀπὸ πέτρας καὶ μὴ ὑπεῖξαντα τοῖς δογμασιν αὐτοῦ ζῶντα, δήσας τῶν ποδῶν ἐν τοῖς Πελαγίου καὶ τούτον διὰ τῆς Μέσης συρόμενον

ἀγράφως — ὡς ἀνωφελεῖς ἀποκρῦπτων + καὶ τῆς ἁγ. παρθένου καὶ θεοτόκου + καὶ ἐγγράφως + πολλῶ χειρόνα τῆς τῶν Ἀράβων μανίας πᾶσιν. . . ἐπεδείξατο + ὁ χριστιανῶν βασιλευσιν“.

¹ Позволяю себе не вводить в разбор только компрометирующий Феофана-летописца несурзанный анекдотец о беседе императора с патриархом по вопросу, предложенному первым: „ἄρτι τί ἡμᾶς βλέπεις, ἐν λεγόμεν τὴν θεοτόκον χριστοτόκον“. Возможно, что эту нескладную и неожиданную прибавку к а. м. 6255 сделал даже не сам Феофан, а какой-нибудь ранний переписчик.

² К царствованию Константина V относятся: Theoph. 432, 16—21; 436, 26—437, 19; 437, 15—19; 437, 25—438, 1; 440, 24—441, 2; 442, 16—443, 18; 445, 3—12; 445, 24—446, 15.

³ Theoph. 432, 16—21. Между прочим Анастасий в переводе дает несомненное: Valentinianistam, которого и необходимо придерживаться, как имеющего больше смысла. У Феофана, наверное, и стояло первоначально: „καὶ Οὐαλεντινέοντα (καὶ νέον Ἰουλιανόν)“ т. е. „валентинистующего“, „валентинианина“, значит, примкнувшего к самой знаменитой и считавшейся чудовищной гностической системе. Император же Валент здесь решительно ни при чем.

ἐκέλευσε ῥιφήναι“. „Болландисты“, опираясь на Житие св. Стефана Нового и на другие акты, пытались установить,¹ что влахернский мученик был не Андрей, а Петр и что Феофан смешал его казнь с казнью св. Андрея: „ἐν κρίσει Ὁ λεγόμενος καλυβίτης ἐν Βλαχέρναις“ = „Πέτρος ὁ ὁσίου ἐν Βλαχέρναις ἐγκηλεισμένος“ — Жития св. Стефана.² Таким образом, там, где нужно было назвать Петра, Феофан называет Андрея и наоборот. С первой частью утверждения можно вполне согласиться: влахернский мученик — скорее Петр, чем Андрей. Но вторая вызывает сомнение: мученик а. м. 6259 едва ли отождествим с Андреем ἐν κρίσει, который не был столпником (στυλῖτης ἀπὸ πέτρας)³ и появился в Константинополе, по преданию, с о. Крита „для обличения тирана“.

Отчего могло произойти такое несчастье с Феофаном, оказавшимся столь нетвердым в распознавании, казалось бы, выдающихся героев православия? Даже больше: отчего вообще он так скуп на имена, хотя и заявляет, что таких жертв ярости Константина V было не мало? Думается, потому, что или, в самом деле, таких „мучеников монашества“ было сравнительно немного: лишь отдельные, особо фанатичные упрямцы шли на такую жестокую гибель, многие же или укрывались, или подчинялись требованиям правительства, или же бежали в недосягаемые места. Или же их имена с трудом собирались и устанавливались Феофаном и вообще писателями воспрянувшего благочестия. Эти жертвы монахоборческого террора ведь совсем не были народными героями. Большинство населения, как в столице, так и в провинциях оказалось далеко не на стороне гонимого монашества: напротив, толпы, судя по неприкрытым указаниям и летописи и агиографии, проявляли активность и даже задор в преследовании и разгроме монашества. Для целого ряда поколений византийского общества, прижавшего „иконоборчество“, можно утверждать безразличное отношение к мученикам-монахам, а такое отношение, конечно, не может благоприятствовать отчетливому запоминанию и их имен. Но пусть даже Феофан действительно перепутал мучеников, все-таки его сообщения от этого не теряют своей конкретности и своего важного значения. Рядом с Стефаном Новым он называет еще двоих мучеников, пострадавших не за упорное почитание икон, а исключительно за то, что они были видными и влиятельными представителями монашества. Продолжая повествование о „Петре-столпнике“, Феофан приоткрывает завесу иконоборчества и позволяет, хоть краем, увидеть то крутое „монахоборчество“, которое являлось центральной и реальной линией движения VIII в., запечатлевшейся и в хронографии, несмотря ни на что, как раз самым надежным и явственным материалом. Я говорю даже не об общем заявлении: „ἄλλους ἐν σάκκοις δεσμῶν καὶ λίθοις προσαρτίων ἐν τῷ πελάγει ῥίπτεσθαι προσέταττεν, τυφλοῦτων, ῥινοκοπῶν, μάστιγι ξαίνων, καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως κατὰ τῶν εὐσεβοῦντων ἐπινοῶν“, так как оно похоже на обычную риторическую фигуру, а обращаю внимание на то, что Феофан уверенно переименовывает страшных проводников императорского разгрома монашества, τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπαξίους ἐργάτας: в столице —

¹ Введения к житиям: Андрея, А. А. S. S., Octob., VIII, 128 и Петра Каливира, А. А. S. S., Mai, III, 625.

² Migne. Patrol. Gr. 100, 1165—1166. См. И. Андреев. Герман и Тарасий, 89.

³ Это ἀπὸ πέτρας, повидимому, и повлияло аллитеративно на имя стилита у Феофана.

патрикия и domestика схол Антония и магистра Петра, в фемах: аналитической — Михаила Мелиссина, фракийской — Михаила Лаханодраконта и букелларийской — Маниса. Эти пятеро явственно запомнились и у последующих поколений не как нечестивцы и иконоборцы вообще, а специально как крутые и яростные истребители монастырства. Далее Феофан яркими чертами рисует, как изменился весь склад жизни, как изгонялось из нее и преследовалось все, что напоминало о монашеской набожности, манерах, выражениях. И императорский дворец первый давал тон новой „светской“ жизни.¹ Благочестивые стародумы, не могшие отрешиться от монашеских повадок, карались как враги императора и объявлялись наравне с монахами „амнионевтами“, т. е. исключенными из общества и из государства. Этот рассказ, блестящий характерными терминами и своеобразными конкретностями, заслуживает полного доверия, даже если он вписан Феофаном просто по памяти или по передаче какого-нибудь старожилы. Такие подробности и индивидуальности, как наименование амнионевтами, подобно эпизоду с опозорением монахов, выведенных парами в гипподроме и подвергнутых всенародным оскорблениям и оплевываниям, трудно, даже невозможно выдумать, тем более, что они так уверенно поддерживаются двумя самыми надежными и самостоятельными произведениями агнографической литературы: житиями св. Стефана Нового и св. Никиты Мидикийского, особенно первым, писанным, может быть, даже раньше соответствующих страниц Хронографии Феофана.

Не менее ценно по своей фактичности и дальнейшее свидетельство Феофана об уничтожении монастырей Константином V.² Об основаниях и размерах этого монастырского террора придется еще говорить в другом месте; теперь же, в пределах анализа повествования Феофана, я считаю необходимым лишь подчеркнуть показательную точность утверждений летописца. Он называет сначала общую меру правительства — превращение монастырей в „общезития“ для стоявших на стороне императора военных, т. е. явно отмену главной „экскуссии“ монастырей, свободы от воинского постоя, от испомещения войск. С такой целью реквизированы были, вероятно, поместительные и комфортабельные здания „первейшего из столичных монастырей“ — Далмата. Феофан называет только одну эту киновию, но он приводит здесь лишь самый яркий пример к общему своему утверждению, и отсюда едва ли можно заключать о незначительном количестве упраздненных при Константине V монастырей. Затем он сообщает о монастырях Каллистрата, Дия и Максимины, которые были уничтожены дотла наравне с другими святыми домами и парфенонами. Опять-таки из ограниченности числа названных монастырей нельзя делать заключений о размерах разгрома. Ведь Феофан не думал давать полного перечня

¹ Theoph. 442, 27. „αὐτός δὲ κιδαρῶδίας ἔχαιρε καὶ συμποσιασμοῖς, αἰσχρολογίαις τε καὶ ὀρηγῆμοις ἐκπαιδευὼν τοὺς περὶ αὐτόν. καὶ εἰ ποῦ τις συμπύπτων ἢ ἀλγῶν τὴν συνήθη χριστιανοῦς ἀφῆκε φωνὴν—τὸ θεοτόκε βοήθει, ἢ παννυχευων ἐφωράδη. . . ἢ εὐλαβεῖα συζῶν. . . ὡς ἐχθρὸς τοῦ βασιλέως ἐκολάζετο καὶ ἀμνημόνευτος ὠνομάζετο“.

² Theoph. 443, 1. Μοναστήρια δὲ τὰ εἰς δόξαν θεοῦ καὶ τῶν σωζομένων καταφύγια οἴκους κοινούς καθίστα τῶν ὁμοφρόνων αὐτῷ στρατιωτῶν. Τὴν γοῦν Δαλμάτου πρῶτιστον οὖσαν ἐν τοῖς κοινοβίοις τοῦ Βυζαντίου στρατιώταις εἰς κατοικίαν δέδωκεν, τὰ Καλλιστράτου τε λεγόμενα καὶ τὴν Δίου μονὴν καὶ τὰ Μαξιμίνου ἄλλους τε μοναστῶν ἱεροῦς οἴκους, καὶ παρθενῶνας ἐκ βάρων κατέλυσε τούτους δὲ μοναχικὸν βίον ἀναλαβεῖσθαι ἐπιτηδεύσαντας. . . θανάτῳ καθυπέβαλεν. . .“

всех пострадавших при Константине V обителей: такая исчерпывающая полнота и точность вообще чужды византийскому летописанию. Важно и убедительно то, что Феофан определенно называет здесь хотя бы первые пришедшие ему на память монастыри, о которых в начале IX в. знали, что они пали жертвой константиновской „реформации“. Пусть у патр. Никифора¹ имеется противоположение, что обитель Каллистрата была продана в частные руки, это не ослабляет ценности и надежности свидетельства Феофана: то и другое, т. е. срытие монастырских зданий и продажа монастырских земель и угодий казной, могло легко совмещаться друг с другом.

На этом мне хотелось бы закончить анализ „независимых“ сообщений Феофана. Я предвижу тот упрек, который могут сделать приверженцы законченности работы, и заранее соглашаюсь с тем, что было бы лучше привести здесь и результаты изучения последней части Хронографии, начиная от правления Льва IV. Но я должен сказать в свое оправдание, что такое исчерпывающее продление микроскопического разбора ничего нового в смысле подкрепления наблюдений, сделанных в пределах двух наиболее ответственных „иконоборческих“ царствований, не дало бы. Признаю, что я не столько отказался от продолжения изысканий, сколько решил просто опустить то, что было уже в готовом виде и для читателя ничего, кроме излишней докуки, не принесло бы.

Анализ был веден, напоминая, не с тем, чтобы обычными приемами определить степень достоверности свидетельств Феофана о ходе иконоборческого движения, а с целью выяснения элементарной фактичности его повествования. То, что получилось в результате, мне представляется чрезвычайно важным. Добросовестное и кропотливое изучение летописи принуждает убедиться в том, что признававшийся в течение веков основным первоисточником по истории иконоборческого движения Феофан таковым отнюдь считаться не может, так как, несмотря на все явственно видное его желание изобразить „нечестие и ересь“, он в своих тщетных усилиях лишь обнаруживает свою полную беспомощность. Все, что он напряженно сообщает и о происхождении „икономахии“ как таковой, о ее начале, первых яростнейших выступлениях и о развитии этого движения в течение долгих царствований, с которыми обычно и ассоциируется нарочито „иконоборчество“, — помимо того, что не выходит, как мы видели, из категории общих, голословных утверждений, „пустых мест“, расположено в хронографическом повествовании в таком „максималистическом“ беспорядке, что производит впечатление явной ирреальности. И особенно знаменательным кажется в этом отношении неожиданное прекращение всяких упоминаний об „икономахии“ сразу и бесповоротно с 754 г. Такой странный обрыв движения и борьбы и сам по себе мало приемлем и вместе с тем отраженно еще более разочаровывает и в тех сведениях об „иконоборчестве“, которые предшествуют такому исходу смут у Феофана.

Напротив, мы должны признать, что в занимавшей наше внимание

¹ Antirr. III y Migne. Patr. Gr. 100, 493—494 D.

партии летописного материала у Феофана выдвигаются по своей надежности и яркой фактичности сообщения об ином, значительном ряде явлений, которыми все гуще наполняется вторая половина царствования Константина V, т. е. время особенного ожесточения и разгара борьбы, когда реформационные круги от частичных проб и разрозненных попыток перешли к генеральным операциям по всему фронту. Два последние десятилетия правления Константина V, исходящие из позиций, созданных и укрепленных Собором 754 г., недаром считаются всеми писателями IX в. эпохой „безумия и ужаса“. Но у Феофана (скорее невольно, чем вольно) она характерным образом представлена фактами, которые в своей компактной совокупности образуют широко задуманную и планомерно осуществлявшуюся „монахомахию“.

Наблюдения, извлеченные из пристального анализа хронографического материала, заключенного в труде Феофана, имеют прежде всего то важное значение, что здесь впервые раскрывается действительная сложность иконоборческого движения и выдвигается сама собой реальная его линия, которая хотя и намечалась ранее в исследовании, но помещалась в иной перспективе. Внимательное изучение повествования Феофана приводит к убеждению, что фактический состав „иконоборческой смуты“ VIII в. заполнен натиском милитаризирующегося государства на монастыри и монашество; попытка же уничтожить иконопочитание, если она и получила солидное теоретическое обоснование на Соборе 754 г., если она и вызвала с течением времени все усиливающийся отпор, исключительно, однако, литературный со стороны гонимого „монашества“, судя по данным хронографии, не всколебала течения жизни крупными актами и решительными выступлениями. Мне приходилось уже указывать, почему гонимая монашеская сторона с жадностью должна была хватываться за это расхождение по вопросу об отношении к иконам, раздувать его значение и вести контрнаступление на правительство именно на этом фронте: с одной стороны, то был момент в борьбе, в сфере которого и возможны были только споры, апологии и опровержения, а с другой — тот же момент давал возможность в напряжении полемики обвинять враждебно-агрессивное правительство не только в гонении на благочестие, но и в ереси и в отступлении от Христа и всех святых. К сожалению, в этом споре мы обречены слышать только одну сторону, которая хотя и приводит в своих опровержениях и защитах мнения и доводы противников, однако, доверяться такой беспокойной и внетекстуальной цитации мы, конечно, не имеем права. Поэтому мы оказываемся не в состоянии даже восстановить точно и отчетливо в характерных пунктах этот интересный сам по себе религиозно-философский спор. Но ведь это — яркая и существенная страница в истории византийской богословско-полемической литературы, не вводящая нас все-таки в историю общественных движений. Мы же отлично понимаем, что сам по себе узкий и мелкий вопрос об иконопочитании не мог держать в состоянии кипения общественные страсти в течение более чем столетия. Спор по вопросу об отношении к иконам и св. изображениям должен выясняться как идеологическая надстройка, или даже точнее — пристройка у более существенного, более реального и, я бы сказал, социального столкновения: иконоклизм и иконодулия — только символы, идейные маски, прикрывающие собой действительные, живые лики борющихся в VIII в. в империи общественных сил.

В этом смысле результаты кропотливого труда над фактическим составом Хронографии должны сыграть и направляющую методологическую роль, давая, с одной стороны, основание и право отстранить с главного пути изучения источники исключительно богословско-полемического характера, а с другой — указуя настойчиво необходимость привлечения иных, может быть, на первый взгляд кажущихся косвенными и далекими, свидетелей этой схватки правительств VIII в. с монастырями и даже поворота главного интереса работы к изучению мало расследованной истории монастырей в Восточной империи как „носителей феодального расчленения“.